

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
малая серия, № 14

ДЕНИС ДАВЫДОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

*Вступительная статья,
редакция и примечания
Вл. Орлова*

СОЗЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1936



ДЕНИС ДАВЫДОВ

1

Денис Васильевич Давыдов, известный партизан эпохи наполеоновских войн, принадлежал также к числу наиболее видных поэтов начала XIX в. Уже в 1820-х гг. он был знаменит не только как военный деятель, но и как писатель. При этом нельзя сказать, что литературная известность Давыдова была всецело связана с его почти легендарной репутацией «народного героя». Литературная слава Давыдова старше его военной славы: «заветные послания» и «защитные песни» Давыдова заучивались наизусть и переписывались в «заветные тетради» задолго до его «партизанских поисков» 1812 г.

Позже, в атмосфере шумного патристического воодушевления, охватившего русское дворянское общество после войны 1812—1814 гг., окончательно сформировалась слава Давыдова, слава воина и поэта — «певца и героя», по словам Пушкина.

Романтический образ «певца-гусара», «Анакреона под доломаном», «пламенного бойца» и «счастливого певца вина, любви

и славы», воспетого первыми поэтами своего времени (Пушкиным, Жуковским, Баратынским, Вяземским, Языковым), увекоченного кистью Кипренского и пером Льва Толстого (гусар Денисов в романе «Война и Мир»), — прочно вошел в историю русской литературы.

Давыдов родился в Москве 16 июля 1784 г. в военно-дворянской семье. Отец его, состоятельный помещик, командовал в то время конным полком. Род Давыдовых вел начало от татарского князька, в XV в. перешедшего на службу в Россию. Давыдов гордился своей родословной, называл себя «потомком Батыя» и неоднократно вспоминал о «своем предке — Чингисхане».

Первоначальное воспитание Давыдов получил дома — в духе стародворянских традиций екатерининской эпохи. Учился он мало и неохотно, и когда, в 1801 г., определился на военную службу, в его формуляре сказано было только: «По-русийски и по-французски читать и писать умеет». Значительно больше времени и внимания уделял Давыдов «военным играм», а впоследствии чтению изблюбленных им военно-исторических сочинений.

Кочуя с отцом по местам стоянок его полка, Давыдов воспитывался в замкнутой военно-дворянской среде, жившей узко-кастовыми интересами и воспоминаниями о победоносных походах Суворова и Румянцева. С детских лет неотступно мечтал он о воен-

ных подвигах и исподволь готовился к офицерской службе.

В 1797 или 1798 г. Давыдов, «живя в Москве без занятий», на положении дворянского «недоросля», случайно очутился в кругу воспитанников Университетского благородного пансиона и познакомился с последней литературной новинкой — альманахом Карамзина «Аониды», — книгой, сыгравшей роль манифеста русской сентиментальной школы. Среди новых приятелей Давыдова господствовали по преимуществу литературные интересы, — почти все они и сами сочиняли в стихах и в прозе. К этому времени относятся и первые поэтические опыты Давыдова, крайне еще несовершенные.

В 1798 г. семью Давыдовых постигло несчастье: отец Дениса Васильевича был осужден по делу о хищениях, обнаруженных в его полку, и на именование его был наложен секвестр. Пришел конец материальному благополучию старинного дворянского рода, и Давыдову пришлось вступить в жизнь полунимом молодым человеком, да еще к тому же с репутацией не вполне безупречной.

В 1801 г. Давыдов приехал в Петербург и не без труда добился зачисления астандарт-юнкером в привилегированный гвардейский Кавалергардский полк. Недостаточность домашнего образования заставила его приняться за изучение наук,

в первую очередь военных. Начало служебной карьеры Давыдова складывалось довольно удачно. Хотя он и страдал от безденежья и по целым месяцам питался одной картошкой, чины и награды шли к нему очень быстро. До 1803 г. Давыдов ничем не выделяется из общей массы гвардейской молодежи, аккуратно и исполнительно относится к своим служебным обязанностям и усердно учится.

«Между тем он не оставлял и беседы с Музами: он призывал их во время дежурств своих в казармы, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню. Он часто на парах солдатских, на столбике больного, на полу порожнего стойла, где избирал свое логовище, писал сатиры и эпиграммы, коими начал ограничивать словесное поприще свое» (автобиография Давыдова, написанная в третьем лице).

В 1803 г. скромное имя кавалергардского поручика получило неожиданную и в достаточной степени громкую известность: за «возмутительные стихи» Давыдов был осужден к переводу из блестящего гвардейского полка в захолустный Белорусский гусарский полк, расположенный в глухой провинции (в Киевской губернии). Давыдову «мыли голову» за политические басни («Голова и Ноги», «Река и Зеркало») и за сатиру «Сон», создавшие незаметному поручику репутацию заядлого вольнодумца и фрондёра.

Для того, чтобы уяснить смысл и значение антиправительственной выходки Давыдова, нужно учесть, с одной стороны, то обстоятельство, что Давыдов отчетливо осознавал себя обиженным фортуной дворянином (некоторую роль сыграл при этом, разумеется, судебный процесс его отца), а, с другой стороны, нужно учесть своеобразие той общественной среды, в которую попал Давыдов в Петербурге и под воздействием которой слагались его социально-политические взгляды и настроения.

Всецело связанный, и по духу и по рождению, с «суворовскими птенцами», Давыдов воспитывал, с детских еще лет, дворянско-оппозиционные настроения, широко распространенные в среде старого кадрового офицерства с первых же месяцев царствования Павла I. Он был свидетелем крушения всей прежней военной системы, свидетелем разгрома «суворовской школы», в традициях которой он рос и воспитывался. Он был свидетелем (и косвенно, через отца, жертвой) произвола «гатчинской клики», отсидевшей на задний план заслуженную и родовитую военную аристократию екатерининской эпохи и связанные с нею более широкие военно-профессиональные круги.

Петербургский круг друзей молодого Давыдова — это «просвещенная» верхушка столичного гвардейского офицерства (преимущественно кавалергарды и преображенцы), зажата в тиски аракчеевского ре-

жима, но не желавшая проститься с иллюзиями «великого осмнадцатого столетия», века дворянского процветания и дворянской «вольности». Представители этой группы военно-дворянской молодежи — прямые наследники «екатерининных орлов». Они не мирились с новыми порядками, жили преданиями прошлого века и присваивали себе право определять по своему усмотрению курс правительственной политики. Фаворитизм, особенно пышно расцветший в условиях женских царствований; роль, которую играла гвардия в бесчисленных дворцовых переворотах XVIII в., — все это способствовало тому, что гвардейское офицерство продолжало смотреть на себя как на основную опору и единственно правомочного блюстителя престола Российской империи. Естественно, что Павел I, решительно вступивший на путь обуздания дворянской «вольницы» и крутыми мерами истреблявший в гвардии «екатерининский дух», воспринимался в этой среде как узурпатор, урезающий коренные дворянские права и привилегии.

Ближайшие друзья молодого Давыдова, почти все — непосредственные участники дворцового переворота 11 марта 1801 г., люди, взявшие на себя инициативу «избавления отечества от тирана» — Павла, что одно уже служило им своего рода патентом на репутацию «вольнодумцев». Но, разумеется, никакого революционного зна-

чения их выступление не имело. Выступившая против Павла дворянская фронда была плотью от плоти и костью от кости господствующего класса крепостников-землевладельцев. Влияние радикально-буржуазной идеологии «свободы и просвещения», пустившей к тому времени глубокие корни и на русской почве, почти вовсе не коснулось ее. В конечном счете, дворянская фронда 1790—1800-х гг. выступала как активная сила диктатуры крепостников — против «самовластия» Павла, осуществлявшего в определенные моменты политику, невыгодную этим крепостникам.

«Избавившись тирана», гвардейская молодежь, привлеченная к делу устранения негодного крупнопоместному дворянству монарха, очутилась в двусмысленном положении. Она пыталась примкнуть к группе «молодых друзей» Александра I (Чарторижский, Новосильцов, Кочубей, Строганов), вырвавших победу и власть на следующий же день после переворота 11 марта из рук его организаторов. Но интересы средне-дворянской «обездоленной» фронды роковым образом не совпадали с интересами барственных либералов, проводивших под покровом идей британского конституционализма политику укрепления экономической и социальной гегемонии крупнопоместного землевладения.

Гвардейская фронда ничего не выиграла.

Она и в условиях нового царствования осталась попрежнему на позициях, враждебных правительству и царю. А вскоре последовавшее крушение политики «молодых друзей» определило окончательный разгром дворянской оппозиции. Аракчеев, истребивший последние следы официального либерализма, отнюдь не имел склонности заигрывать с гвардией; гатчинский режим восторжествовал с новой силой, и гвардейская фронда в очень короткий срок вынуждена была отказаться от реализации всех своих планов.

Выразительным литературным памятником оппозиционных настроений этой группы служит приписываемая Давыдову (с большими основаниями) басня «Орлица, Турухтан и Тетерев», занимающая видное место в подпольной поэзии 1800-х гг. В басне этой прославляется Екатерина II («Орлица»), которая «любила истину, щедроты изливала, неправду, клевету с престола презирала». Наследник ее — Павел I («Турухтан») — охарактеризован в басне как «тиран» и «кровопийца»; по единодушному решению птиц-подданных он лишается «жизни и царствия», и царем избирается «Тетерев» (Александр I) — в надежде, что он «пойдет стезей Орлицы». Однако,

Ошиблись бедны птицы!
Глухарь безумный их —
Скупяга из скупых,

Не царствует — корнит над скопленной добычью,
И управлять другим несчастной отдад
дичью.

Не бьет он, не клует,
Лишь крохи бережет.

Любимцы ж царство разоряют,
Невнятность гнут в дугу, срамцов
обогащают...
Их гнусной прихотью: кто по мпру пошел,
Иной лишен гнезда — у них коль не нашел.
Нет честности ни в чем, идет все на
коварстве,
И сущий стал разврат во всем дичином
царстве.

Ведь выбор без ума урок вам дал таков:
Не выбирать в цари ни злых, ни добрых
петухов.

В этой басне нашли отражение и воспоминания о «золотом веке» Екатерины, и обманутые надежды на возвращение этого «золотого века» при Александре, обещавшем в манифесте управлять «по законам и по сердцу возлюбленной бабки» и не сдержавшем своих обещаний.

Довольно жестоко (для того времени) наказанный за свои «стихотворные грехи», Давыдов должен был проститься и с Петербургом, и с гвардейскими друзьями, и с мечтами о военной карьере, которой был нанесен очень сильный удар. В Белорус-

ском гусарском полку Давыдов встречается с Бурцовым, этим характернейшим представителем гусарской вольницы. Дух подлинной «гусарщины», столь красочно отображенный в стихах Давыдова, жил именно здесь — в провинциальном полку, а не в столичных гвардейских кружках. Давыдов быстро освоился в новой обстановке и с головой ушел в бесшабашную, удалую гусарскую жизнь.

Здесь Давыдов уделяет все больше времени и внимания поэзии и сочиняет свои знаменитые «заветные послания» к Бурцову, которые и стали началом его литературной известности: они распространились по всей России в списках и заучивались наизусть. Один из современников вспоминал впоследствии: «Кто в молодые годы не повторял стихов Давыдова, кто не списывал этих удалых стихов в одну заветную тетрадку? Стихи Давыдова пленяли почти все наше военное поколение... Кто из молодых людей 20-х гг. не воображал себя Бурцовым?»

Между тем, петербургские друзья Давыдова хлопотали о возвращении опального поручика в гвардию. Хлопоты их увенчались успехом: в июле 1806 г. Давыдов был переведен в Петербург, в Лейб-гвардии гусарский полк, однако не долго оставался в столице и следующие четыре года почти целиком провел в походах, участвуя во французской, шведской и турецкой кампа-

ниях. 1812-й год застал Давыдова при штабе Багратиона уже заслуженным боевым офицером, в крестах и с золотым оружием «за храбрость».

Нет нужды излагать историю жизни Давыдова во время войны 1812—1814 гг.: она подробно освещена в целом ряде специальных сочинений. Укажем только основные ее моменты: в июне — июле 1812 г. Давыдов принимает участие в нескольких сражениях, в августе предлагает вниманию Багратиона свой «план партизанских действий», доставивший ему впоследствии столь громкую, всевропейскую славу. Весь 1812 год Давыдов провел на коне и вел свои непрерывные партизанские «поиски» в окрестностях сожженной Москвы, а позже и по всему пути отступления французской армии.

В 1814 г. Давыдов, командуя Ахтырским гусарским полком, марширует сквозь Европу до Франции и только в мае 1814 г. возвращается в Москву в долгосрочный отпуск. По окончании войны он продолжал военную службу в провинции, часто навещая Москву.

Послевоенные годы были временем расцвета поэтической деятельности Давыдова; он пишет в это время свои элегии и некоторые из них отдает в печать: «Стихотворения Давыдова ловили с жадностью при их появлении. Некоторые из них вверялись крыльям периодических листов; другие,

в заветных рукописных доскутках, переходили из рук в руки, утехой молодежи и соблазном степенников» («Телескоп», 1832 г.).

В 1816 г. Давыдов вступает в литературный кружок «Арзамас» (под псевдом «Арманина») и тогда же единогласно избирается действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете.

Давыдов быстро освободился от юношеского вольномыслия. Уже в 1818 г. он писал Вяземскому: «Император ко мне благосклоннее и благосклоннее... я этого достоин по преданности моей к нему и к России, и возрастающей с каждым днем ненависти моей к природным и непримиримым врагам ее». Но репутация «вольнодумца» и «фрондёра» плотно пристала к Давыдову; она обгоняла его славу и мешала его карьере. Несмотря на внешнюю удачливость, несмотря на громкие партизанские подвиги, Давыдов был обойден по службе. Многие его товарищи, с кем начинал он армейскую жизнь, достигли высших ступеней военно-бюрократической лестницы, а он все оставался в генерал-майорском чине и даже не на вторых, а на десятых ролях.

В начале 1823 г. Давыдов вышел в отставку. В автобиографии он дал этому событию шутливое, но вместе с тем принципиальное объяснение: «единственное упреждение», которое осталось ему на долю в

условиях аракчеевщины, — «застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до пупа», — «надоедает ему до того, что он решается на распашной образ одежды и жизни».

Человек с огромным самолюбием, откровенно признающийся и в славолюбии («мы все живем для славы!»), Давыдов чрезвычайно болезненно ощущает свою «обойденность» и пытается исправить положение, объясняя свои служебные неудачи гонением со стороны высшего начальства, гонением за прежнее, юношеские «неосторожные мысли». Он сохраняет позу фрондёра и теперь, но только в письмах к друзьям. С ними он откровенен. Но в официальном своем быту Давыдов не перестает заботиться о своей карьере, засыпает своих покровителей — Закревского и Ермолова — просьбами об определении на службу, а пока карьера не получается, медленно, но верно сколачивает капитал, посвящая все свои невольные досуги семье и хозяйству. В конце концов фрондёрство Давыдова вырождается в простое старческое брюзжание забытого генерала.

В иных случаях Давыдов, впрочем, возмущался в своей критике военной бюрократии до выражения более серьезного негодования по адресу «того класса, который в колыбели валяется на розовых лентах и в зрелых летах не сходит с атласного дивана»; но в основном его критика шла

по линии «частных» возражений против бессмысленной шагистики и вахпарадной муштры, введенной Александром I. Он едко и зло осмеивает генералов аракчеевской школы, для которых «глубокое изучение ремеслов и правил вытягивания посков служит источником самых высоких поэтических наслаждений»; он осуждает невежественных генералов, «в коих убито стремление к образованию», и пр. Сам он усердно исправляет недостатки первоначального своего образования: в 1819 г., например, он выписал «на тысячу рублей книг» и изучал не только курс фортификации, но и политическую экономию, юриспруденцию и «теорию хозяйства» — по трудам Ся, Бенжамен Констан и Бентама.

Давыдов обвиняет правительство в «безмыслии», в непонимании «истинных требований века», в затрате огромных средств на развитие негодной системы военного образования. Он скорбит о «старых, но несравненно более светлых понятиях» и выражает опасения, что ему уже не удастся увидеть «эпоху возрождения России».

А отношение к Давыдову в высших сферах оставалось попрежнему по меньшей мере настороженным. «Проклятое мое остроумие и стихотворчество много мне повредило в мнении людей сухой души и тяжкого рассудка» — признавался сам

Денис Васильевич. Ни одно из представлений Ермолова, желавшего определить Давыдова в свой Отдельный Кавказский корпус, не увенчалось успехом: при дворе имели о Давыдове «прежние невыгодные мысли», которые Ермолов совершенно справедливо расценивал как «несправедливое предубеждение».

Александр I, отказывавший Давыдову в доверии и благосклонности, терял в нем одного из преданнейших слуг «престола и отечества». «Неужели вечно продолжается молодость человека без перемен?» — недоумевал Ермолов, всеми средствами защищавший Давыдова перед лицом его высоких обвинителей. И перемены действительно имели место: Давыдов, законченный и последовательный крепостник, был верным и исполнительным слугой самодержавия, расхопившимся с ним по существу только по мелкому вопросу о военной бюрократии. Нужно думать, что, стоило бы только Александру I оказать Давыдову немного внимания, как от его «фрондёрства» не осталось бы и следа. Но репутация вольнодумца упрочилась за Давыдовым настолько, что в конце концов Ермолов вынужден был «прекратить свои домогательства до лучшего времени».

В 1824 г. Давыдов и сам, видно, устал писать прошения о зачислении на вакантные должности и напоминания о производстве. Он решил выйти в «чистую» отставку —

снадеть фрак» и «сбрить усы». С горечью «общал он об этом Закревскому, подчеркивая свою благонамеренность: «Молодой человек с пылкостью может врать — это я и делал, но ручаюсь, что нет в России приверженное меня к царю и отечеству». Однако никакие заверения уже не помогали, и когда через год Ермолов снова попытался пристроить родственника (он был двоюродным братом Давыдова) на службу, ему было отказано таким образом, что он «и рта не мог более разинуть».

Еще в 1814—1815 гг., сразу же по возвращении из заграничного похода, Давыдов очутился в атмосфере декабристских влияний. Он был частым посетителем Каменки, этого гнезда южноармейских заговорщиков; он находился в тесном и постоянном общении со многими из видных деятелей тайных обществ. Впоследствии он писал, что, «находясь всегда в весьма коротких сношениях» с будущими декабристами, он не был, однако, посвящен в их «тайны» и, несмотря на многократные «покушения» своего двоюродного брата, известного декабриста В. А. Давыдова, отказался вступить в тайное общество.

В ответ на конституционалистские размышления Вяземского Давыдов писал ему (в июне 1818 г.) следующее: «Народ конституциональный есть человек отставной в плафровке, на огороде, за жирным обедом, на мягкой постели, в спорах бостона.

Народ под деспотизмом: воин в латах и с обнаженным мечом, живущий на счет того, кто приготовил и огород, и обед, и постель; он войдет в горницу бostonистов, задует свечи и заберет в карман спорные деньги. Это жребий России, сего огромного и неустрашимого бойца, который в плафровке и заврется, и разжиреет, и обрюзгнет, а в доспехах умрет молодцом».

Так, отторгнутый от службы, обиженный царем и непримкнувший к дворянским вольнодумцам 10—20-х гг., Давыдов отставным генералом замкнулся в деревенском уединении. Он готов даже проститься с мечтами о славе: «Бог с нею, война; бог с нею, слава и честолюбие, — довольно подурачился... Теперь я вижу, что ничего этого не надо, а надо три вещи: счастья, счастья и счастья» (письмо к П. А. Мухомову, 1824 г.).

Выйдя в отставку, Давыдов с увлечением отдался литературным занятиям; правда, стихи он «оставил» («Нет поэзии и безмятежной и блаженной жизни! Надо, чтобы что-нибудь ворочало душу и жгло воображение» — пишет он Вяземскому). Он «пустился в военные записки» («Не позволяют драться, я принялся описывать, как дрались»). Перо свое он наполняет ядом иронии и сарказма по адресу героев плацпарадной военщины: «К тому же все нынешние исполны славы при мне зароди-

лись и возмужали, я видел их в латах и в халатах... Зато никому и не дам того, что не принадлежит ему» (письмо к Вяземскому).

Стихов Давыдов пишет очень мало вплоть до 1829 г., когда в нем снова «расшевелился червяк поэзии». Он объясняет свое долголетнее поэтическое молчание следующим образом: «Я не писал по расчету, пока служил, — писать стихи опасно от вкорененного предрассудка в деловых людях, что поэт ни к чему не способен. У меня же и без того было довольно преград; доказательство, что, невзирая на все рвение мое, я не мог преодолеть их и теперь, у слуга; пиши же я стихи, то и до того не дошел бы, где я теперь. Зато, распоясавшись и повеся пашку мою на стену, с каким удовольствием я обратился к этому благородному занятию, непонятному прозаическому человеку» (письмо к Жуковскому, 1829 г.). Он пишет теперь стихи, потому что ему «необходима поэзия, ибо хотя и «изгнали его с поля сражения», но «пригнали к красоте женской, с воспоминаниями эпических войн, опасностей, славы, к злобе на гонителей или на сгонителей с поля битв на пашню. От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспламеняется, — и я опять поэт!» (письмо к Вяземскому, 1829 г.). На эпоху тридцатых годов падает второй (и последний) расцвет поэтического творчества Давыдова.

В эти годы Давыдов все больше и больше осознает себя литератором, теснее смыкается с живыми литературными силами эпохи и принимает деятельное участие в журнальных предприятиях своих литературных друзей. Он отчетливо осознавал свою органическую, «кровную» связь с группой «литературных аристократов», и в обстановке развернувшейся борьбы дворянских писателей с литературой реакционного мещанства (Булгарин) и нарождающейся буржуазной демократии (Полевой) бесспоротно занял место в рядах сотрудников «Литературной Газеты» и пушкинского «Современника». В Давыдове сильна была арзамасская закваска; его литературные друзья и советники — в первую очередь арзамасцы (Жуковский, Вяземский, Пушкин), им он посылает свои стихи на суд. Он подговаривает Вяземского издавать журнал, с тем, чтобы «затоптать в грязь» все остальные журналы, причем список сотрудников у него уже готов: «Жуковский, Пушкин, Баратынский, Дельвиг». В 1836 г. он проявляет исключительную заботливость о журнальных делах Пушкина: «Накопляется ли журнал Пушкина? — спрашивает он Вяземского. — Я еще пишу статью и подобрал в шайку нашу Языкова. Пора нам отделаться от ярыжников-литераторов и составить свое общество, в котором бы не пахло ни пушищем, ни ерофеичем».

В 1826 г. Давыдов принял участие в русско-персидской войне, но конфликт Ермолова с Паскевичем вынудил его, как заядлого «ермоловца», уйти снова в отставку. В 1831 г. Давыдов сражался в последний раз — в армии, выступившей на усмирении польского восстания.

Верный слуга самодержавия, он сам добивался назначения «туда, где бой кипит, где русский штык бушует», настаивая на своем неотъемлемом праве «быть употребленным» в делах колонизации Кавказа и подавления национально-освободительного движения польского народа. В письме к приятелю он признавался, что ему мочи «нет как хочется побить эту польскую каналью», и откликнулся на известие о польских событиях таким откровенно-шовинистическим двуступнем:

Поляки, с русскими вы не вступайте
в схватку,
Мы вас глотнем в Литве, а в... м
в Камчатку.

Вернувшись по окончании польской кампании домой, Давыдов уже навсегда повесил на стену свою боевую саблю и на коня сажился только для псовой охоты. В 1832 г. Давыдов поселился в полученном за женой симбирском поместьи Верхняя Маза и жил там почти постоянно, наездами только бывая в Москве, Петербурге, Пензе, Вла-

димире, Симбирске. В деревне он был занят хозяйством, писательством (переделывал свои военно-исторические и теоретические сочинения), воспитанием детей и sentimentalным романом с восемнадцатилетней девушкой.

В Симбирской губернии Давыдова окружало кондовое русское дворянство — оплот помещичьей крепостнической России. Давыдов быстро ассимилируется и в этой среде: он разъезжает по дворянским балам и охотам, спорит с соседями, сливет среди них за «большой руки оригинала» и постепенно скатывается на позиции совершенно откровенной общественно-политической реакции. Разбогатевший помещик, винокуренный заводчик, он нежится «в своем уединении» и недоумевает: «Где это честное девалось, чорт знает! Ничего не хочу, кроме спокойствия... Жена да дети — нища духовная, а для лакомства — книги, бумага, перо и чернила, охота псовая и ястребиная...»

«Анакреон под доломаном» умер, остался стеной помещик-зубр, не делающий никаких уступок «ни новым людям, ни новым понятиям», мечущий громы на головы «школьников-инкургов, с очками на носу и в батистовых рубашках», разливающих по России «дурь общегражданства». В 1836 г. он с позиции реакционного национализма пишет на эту тему последнее свое произведение — «Современную песню», направ-

вление против либерального западничества (персонально против Чаадаева и его кружка). Впрочем, в этой же сатире Давыдов дал замечательно острую разоблачительную характеристику русского дворянина 30-х гг., прикрывавшего маской либерализма свою подлинную физиономию крепостника:

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала...

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафает,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Разоблачительная сила этой сатиры была такова, что представители революционной публицистики неоднократно пользовались ее формулировками в борьбе с либерализмом, — конечно, по-своему переосмысливая их.

Под конец жизни у Давыдова остались одни воспоминания. «Два утра просидел я с Денисом Давыдовым, который стареет ужасно и живет в прошедшем или, лучше

сказать, в одном: 1812 годе» — писал Николай Полевой в 1838 г.

22 апреля 1839 г., еще не старым человеком, на пятьдесят четвертом году жизни, Давыдов скончался от апоплексического удара.

2

Давыдов, писавший в эпоху расцвета русской дворянской поэзии, сумел занять в ней хотя и небольшое, но вполне самостоятельное место. Современники единодушно расценивали его поэтическое творчество как «оригинальное», «самобытное». Пушкин, любивший стихи Давыдова, говорил в 1829 г., что именно ему он был обязан тем, что не поддался в молодости исключительному влиянию Батюшкова и Жуковского («Он дал мне почувствовать еще в лице возможность быть оригинальным»); Пушкин признавался, что старался подражать Давыдову в «кручении стиха», «приноравливался к его слогу» и «усвоил его манеру навсегда».

Своеобразие поэзии Давыдова заключалось в том, что это была военная, точнее — гусарская поэзия.

Роль, которую сыграл Давыдов в русской поэзии, однако, не исчерпывается тем обстоятельством, что наиболее примечательные его стихи написаны на военные темы. В русской литературе батальная поэзия стала вполне традиционным явлением еще

задолго до выступления Давыдова. В творчестве поэтов XVIII в. заметное место занимали торжественные военно-патриотические оды и героические эпосы, прославляющие в условно-приподнятом, декламационном стиле и в традиционных мифологизированных образах сражения и походы, подвиги «героев» — царей и полководцев. Крупнейшими памятниками батальной поэзии XVIII в. были оды Ломоносова и Державина и «Россиада» Хераскова. Типичный образец этой парадной и возвышенной поэзии — державинская «Песнь лирическая россеу по взятии Измаила»:

На подвиг твой вождя веленьем
Ты идешь, как жених на брак.
Марс видит часто с изумленьем,
Что и в бедах твой весел зрак:
Где вокруг драконы медны ржали,
Из трех сот жерл огнем дышали,
Ты там прославился днесь вновь.
Вождь рек: «Се — стены Измаила!
Да сокрушит твоя их сила!..»
И воскипела бранна кровь.

К началу XIX в. военно-патриотическая ода и героическая эпоса стали уже достоянием преимущественно третьеразрядных поэтов державинской школы. Представители нового литературного поколения — карамзинисты, как правило, обходили военную тему (элегия и баллады

Батюшкова, связанные с темами войны, и рапсодия Жуковского «Певец во стане русских воинов» — относятся к более позднему времени).

Военные стихи Давыдова были новым явлением на фоне торжественных песнопений одошисцев XVIII в. и их эпигонов. По словам критика двадцатых годов П. А. Плетнева, «Давыдов составил, так сказать, особый род военной песни, в которой язык и краски ему одному принадлежат».

Поэтическое творчество Давыдова служило в известной мере продолжением линии «домашней», интимной лирики XVIII в., лучшими образцами которой являются «Анакреонтические песни» Державина и «горадианские» стихотворения Канниста. От «высокого штиля» оды, гимна и эпоса Давыдов отошел, быть может, дальше, нежели все остальные поэты последержавинского и допушкинского периода. В стихах его мы не найдем ничего хотя бы отдаленно напоминающего по стилю и языку приведенный выше отрывок из военной оды Державина. Характерно, что среди стихотворений Давыдова вообще нет ни одной оды — этого традиционного жанра батальной поэзии XVIII в. Строго говоря, батальная тема в ее чистом виде (описание сражений) в творчестве Давыдова не представлена вовсе. Если он и касался темы войны в своих элегиях и песнях, то брал

ее исключительно в деталях, составлявших своего рода фон, на котором развевалась лирическая тема, — либо разрабатывал батальный материал в комическом плане, как, например, в стихотворении 1808 г. о Кузьмеве, пародирующем стиль «высокой», классической военной оды.

Суть дела в том, что Давыдов был поэтом не войны, а военного быта. Стихи его — это не столько стихи о войне, сколько стихи военного человека, раскрывающие несложный мир его чувств и переживаний на присущем ему одному языке, крайне непринужденном и чуждом поэтических условностей.

В эпоху 1800—1810-х гг., прошедшую для России под знаком беспрерывных войн, молодое дворянское поколение самым ходом событий было втянуто в атмосферу патристических восторгов и включено в обстановку военного быта. По словам Ф. Булгарина, «тогда было в моде и в нравах молодечество», доводившееся пными до «отчаянности». «Молодечество» и наиболее, быть может, выразительное его проявление — «гусарство», ставшее в ту пору своего рода формой быта, — накладывали особый отпечаток не только на поведение, но и на сознание дворянской молодежи.

Давыдову удалось в своих ранних стихах талантливо выразить дух «гусарства», удалось создать живописный и обобщенный образ легкомысленного и удалого воина-

гусара, живущего по правилу: «Пей, люби да веселись», — пьяницы и забулдыги, но, вместе с тем, неизменно честного, прямодушного, чуждого лести, низкопоклонства, лжи и условностей светского быта. Этим объясняется шумный успех «заметных посланий» Давыдова к Бурцову и таких его стихотворений, как «Гусарской пир», в которых впервые в русской поэзии в легкой непринужденной манере была разработана тема военного быта (разумеется, не солдатского, а офицерского), со всеми его красочными аксессуарами — трубкой, пуншевыми стаканами, картами, саблей, «ухарским конем» и «любезными усами»:

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради бога... и арака
Посети домишко мой!
В нем нет нищих у порогу,
В нем нет зеркал, ваз, картин,
И хозяин, славу богу,
Не великий господин.
Он — гусар и не пускает
Мишурю пыль в глаза...

Стихи эти не предназначались для печати и пользовались, говоря словами Давыдова, «рукописною или карманною славою». Это была поэзия военная, домашняя, «распашная», не отвечающая узаконенным нормам книжной поэтики и стилистическим канонам.

Строго говоря, Давыдов не явился безусловным начинателем в этой области. У него были предшественники, вроде гвардейского сатирика и остролова С. Н. Марина, песни, эпиграммы и пародии которого также пользовались в свое время шумной славой, но в печать не попадали. И, кроме Марина, в конце XVIII — начале XIX в. имелось немало стихотворцев-дилетантов (имена их в большинстве не сохранились для потомства), писавших стихи «для друзей» и не претендовавших на «высокое титул поэта».

Историко-литературное значение ранних стихов Давыдова заключается в том, что они, благодаря незаурядной талантливости автора и особенно благодаря тому, что в них был дан художественно-цельный, типический и обобщенный, образ гусара, — стали явлением не только быта, но и литературы. Эта линия гусарской лирики так и не получила своего дальнейшего развития в книжной поэзии 20—30-х гг., оставшись достоянием безымянных дилетантов, на все лады варьировавших в давыдовской манере найденную им тему «гусарского веселья» (из профессиональных поэтов в этом направлении работал лишь один Н. Неведомский, справедливо заслуживший славу графомана, и, отчасти, поэт 30-х гг. К. Бахтурин).

На основных путях русской поэзии Давыдов явился не только подлинным созда-

телем гусарской лирики, но и, по существу, единственным его представителем. Он действительно сумел найти для него неповторимые «язык и краски». Усвоить манеру Давыдова не составляло труда только для заурядного эпигона — в порядке примитивного подражания. В этом отношении характерна неудача Батюшкова, попытавшегося по-своему разработать гусарскую тему в известном стихотворении «Разлука» («Гусар, на саблю овираясь...», 1812—1813 г.), в котором «давыдовская» тема совершенно растворилась в типичной сентиментально-элегической интонации и традиционно-поэтическом словаре. Пушкин очень верно заметил по поводу этого стихотворения: «Цирлих манирлих, с Д. Давыдовым не должно и спорить».

Второе «самобытное» свойство поэзии Давыдова — ее автобиографичность и, если так можно выразиться, автопортретность. Еще Белинский заметил, что для Давыдова «жизнь была поэзией, а поэзия — жизнью». Известно, как заботился Давыдов о своей славе воина и поэта, как всячески старался он закрепить за собою репутацию «самого поэтического лица русской армии» и в обоснование ее написал автобиографию (выдав ее за чужое произведение), по отзыву современника «замечательную неслыханным самохвальством». Военно-мемуарные статьи Давыдова — вещи того же плана, что и автобиография.

Давыдов заботливо выправлял свою литературную биографию — как биографию поэта-воина, который творит на седле или в палатке и не заботится о внешней отделке своих творений. На самом деле картина была обратной: Давыдов писал стихи преимущественно в мирной обстановке и почти никогда во время военных походов, а сохранившиеся черновые рукописи его стихотворений свидетельствуют, как много труда и старания вкладывал он в переработку написанных пьес.

Увоенную им в жизни позу «певца-героя» — то «удалого», то «нежного» — Давыдов перенес и в свои стихи. Центральный (и, пожалуй, единственный) образ его поэзии — это сам Денис Васильевич Давыдов — гусар, партизан, поэт, — образ фальсифицированный, но не теряющий от этого ни в своей конкретности, ни в своей красочности.

Вряд ли можно назвать другого русского поэта XIX в., творчество которого было бы столь личностным по тону и портретным по «рисунку», как творчество Давыдова. Он сделал себя самого единственным героем своих стихотворений, составляющих в совокупности единый цикл, замкнутый на личности автора и воспринимающийся как автобиография в стихах.

Эта личностность тона и автопортретность поэмы закреплены в стихах Давыдова и интонационно. Живая, эмоциональ-

ная разговорная интонация организует весь поэтический строй Давыдова, сообщает его стихам особую непринужденность и темпераментность:

Нутка, кивер набекрень,
И — ура! Счастливыи день!

Ради бога, трубку дай...

Бурцов, пью твое здоровье:
Будь, гусар, век пьян и сыт!

Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами...

То ли дело средь мечей!

Простите! Право, виноват.

Количество примеров можно легко умножить.

Наряду с гусарскими и сатирическими песнями Давыдов, сочетавший, по словам Вяземского, «песнь бивака» с «песнью нежною Парни», писал любовные элегии именно в духе Парни и его русского ученика Батюшкова. Современники делили творчество Давыдова на два «рода» — «гусарский» и «нежный» (А. Бестужев-Марлинский). В «Московском Телеграфе» 1832 г., в рецензии о сборнике стихотворений Давыдова, писали, что в нем «виден дух совершенно различных певцов. Один — весь

любовь, со всеми ее нежными, очаровательными оттенками. Другой — полное выражение вакхической радости, которая мелькает в стане воинском, между биваком и смертью». Отзывы эти свидетельствуют о том, что в понимании современников гусарские песни и элегии существовали в поэзии Давыдова разобщенно, что Давыдов-гусар и Давыдов-элегик воспринимались как два разных поэта.

С этим можно согласиться только отчасти. В поэзии Давыдова, действительно, отчетливо различимы две струи — гусарская и элегическая. Но важно учесть, что Давыдов пытался деформировать элегический жанр путем придания ему специфических свойств своей гусарской лирики, пытался сделать его более или менее созвучным своей «гусаршине». Делал он это осторожно, не прибегая к простейшему приему — народному переосмыслению конструктивных элементов элегии, но соответствующим образом обрабатывая элегическую форму в плане интонационном. Тенденцию эту можно проследить на примере переработки элегии «Договоры», предпринятой Давыдовым с той целью, чтобы вытравить из нее традиционно-элегический элемент и сделать ее сатирой (см. примечания, стр. 172).

О том, что Давыдов не считал свои элегии чем-то безусловно выпадающим из общего строя его поэзии, свидетельствует, между прочим, тот факт, что, отбрасывая

с большой строгостью стихи для отдельного издания, он включил в него и элегии (правда, не все), причем не выделил их в особый отдел, а перемешал с «гусарщиной» и, следовательно, не опасался, что они могут разрушить цельность сборника, строившегося им как автобиография «певца-героя».

Попытки Давыдова деформировать жанр элегии не увенчались сколько-нибудь заметным успехом, но все же на элегиях Давыдова тоже лежит печать «самобытности», во многом отличающая их от элегической лирики Батюшкова, Жуковского и бесчисленных их подражателей. Самобытности элегий Давыдова способствовало то обстоятельство, что все они были, так же как и его гусарские песни, личностны по тону, «автобиографичны». Образ героя-автора, в сочетании с эмоциональной интонацией «лирической исповеди», объединял элегии Давыдова с его гусарскими стихами:

О мой милый друг! с тобой
Не хочу высоких званий,
И мечты завоеваний
Не тревожат мой покой!
Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой, долг священный —
Вновь за родину встать;
Друг твой в поле появится,
Еще саблею блеснет,
Или в лаврах возвратится,
Или на лаврах мертв падет!..

Давыдов сам отлично понимал, что «новое слово» было сказано им в «гусарские», а не в элегии. «Вся гусарщина моя хороша, и некоторые стихи, как «Душенька», «Бородинское поле», — изрядны, но элегии слишком пахнут старинной выделкой, задвинуты эпитетами, и краски их суть краски фансовые, или живопись эпохи Миньяра, Буше и пр. живописцев века Людовика XIV» — писал он Вяземскому. Поэтому он не поместил в сборнике своих стихотворений элегии: «Договоры» (в первой редакции) и «Пусть бога-мстителя могучая рука», забракованные им за глагольные рифмы и «изобилие в эпитетах».

В дальнейшем элегическая струя в поэзии Давыдова, получив отчасти новое направление, окончательно разветвилась с гусарской. В эпоху 1820—1830-х гг. Давыдов, наряду со стихами, выполненными в духе и в традициях его раннего гусарского творчества («Ответ», «Товарищу 1812 года», «Генералам, танцующим на бале», «Партизан», «Полусодат» и особенно «Гусарская исповедь», «Голодный пес», «Челобитная» и «Современная песня»), писал на гладком условно-«поэтическом» языке, по пушкинскому шаблону, любовную лирику, в которой почти без остатка растворились «резкие черты неподражаемого слога», так ценящиеся в Давыдове самим Пушкиным. В стихах этих Давыдов утратил свою «самобытную» манеру; они ничего не прибав-

ляют к его поэтической индивидуальности, и, если бы его литературное наследство исчерпывалось этими стихами, он остался бы в истории русской поэзии на правах талантливого эпигона, автора «гладких», совершенных по форме, но подражательных элегий, песен, романсов и мадригалов.

Стихотворная техника Давыдова (в лучших его вещах) заслуживает большого внимания.

А. Бестужев-Марлинский отметил, что «слог партизана-поэта быстр, картинен, внезапен». Вяземский сравнивал «пылкий стих» Давыдова с пробкой, «рвущейся в потолок», и с «хладным кипятком» шампанского, брызжущим из бутылки. Языков охарактеризовал стих Давыдова, как

...стих могучий,
Достопамятно-живой,
Упоительный, кипучий;
И воинственно-летучий,
И разгульно-удалой.

Действительно, Давыдов отличался от большинства русских поэтов начала XIX в. смелым обращением со словом. Он резко индивидуализировал стих в своих «заметных посланиях», «зачашных песнях», сатирических куплетах и эпиграммах.

Работая исключительно в пределах мелких жанров, занимавших центральное место в стиховой системе карамзинистов, Давыдов

отступал в то же время от строгих законов упорядоченности словаря и образов, установленных эстетикой и поэтикой карамзинской школы.

Эстетизированному, жеманному и перифрастическому языку карамзинистов он нарочито противопоставлял просторечие, грубовато-откровенный гусарский жаргон. Стихи его испещрены такими «грубыми», «низкими» словами и их сочетаниями, как: бра, лохань, ухарский, оробеем, путка, горло драги, качай-валяй, нахалы, сволочь, на чорта рад, французишши гнилые, горелка, красно-сизые носы, мертвецки пьяют, чорт возьми, зюзя, натянуся, свинья-свиньёю, девки, щц, оплеушина с закуской, затажка, потеет, пуза, оттычки, глотка, пуц, шии, шаршавый, чёс, тошно, обомдел, рыло, таска, хрыч, сводня и т. д., — вплоть до прямых нецензурностей. Вместе с тем Давыдов расширял свою лексическую базу за счет специфических слов, выражений и терминов военно-профессионального языка: «ратификацию трактату моему», «абишид на покой», прогоны, эстафета, тапка, ментик и т. д.

Давыдов чрезвычайно искусно пользовался подобными словами и, порою, в таких сочетаниях, благодаря которым достигался полный эффект гусарского просторечья. Таково, например, стихотворение «Решительный вечер», напечатанное в сборнике Давыдова и совершенно немислимое в книжке любого карамзиниста:

А завтра — чорт возьми! — как зюзя
натянуся;
На тройке ухарской стрелою полечу;
Проснавшись до Твери, в Твери опять
напьюся,
И пьяный в Петербург на пьянство
прискачу!

Но если счастье назначено судьбою
Тому, кто целый век со счастьем незнаком,
Тогда... о, и тогда напьюсь свинья-свиньёю
И с радости пропью прогоны с кошельком!

Замечательно, что это стихотворение начинается тремя типично-элегическими стихами:

Сегодня вечером увижусь я с тобою,
Сегодня вечером решится жребий мой,
Сегодня получу желаемое мною, —

намечающими вполне традиционное и «благоприятное» развитие темы. Давыдов охотно прибегал к такому приему неожиданного и резкого «снижения тона». На эффекте этого приема построен его мадригал «NN»:

Вошла — как Психея, томна и стыдлива,
Как юная пери, стройна и красива...
И шопот восторга бежит по устам,
И крестятся ведьмы, и тошно чертям!

тому, что имя его осталось в русской поэзии, а стихи сохраняют для нас не только познавательное, но и эстетическое значение. Здесь уместно будет напомнить оценку, данную Давыдову Белинским: «Давыдов, как поэт, решительно принадлежал к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии... Талант Давыдова не великий, но замечательно «замобытный и яркий».

Вл. Орлов

СТИХОТВОРЕНИЯ

ГОЛОВА И НОГИ

Уставши бегать ежедневно
По грязи, по песку, по жесткой мостовой,
Однажды Ноги очень гневно

Разговорились с Головой:

За что мы у тебя под властью такой,
Что целый век должны тебе одной
Повиноваться;

Днем, ночью, осенью, весной,
Лишь вздумалось тебе, изволь бежать,
Таскаться

Туда, сюда, куда велишь;
А к этому еще, окутавши чулками,
Ботфортами да баншаками,
Ты нас, как ссылочных невольников,
Моришь,—

И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами,
Покойно судишь, говоришь
О свете, о людях, о моде,
О тихой или дурной погоде;

Частенько на наш счет себя ты веселишь
Насмешкой, колкими словами,—
И, словом, бедными Ногами
Как шашками вертишь».

«Молчите дерзкие», им Голова
Сказала,

«Иль силою я вас заставлю замолчать!..
Как смеете вы бунтовать,
Когда природой нам дано повелевать?»

«Всё это хорошо, пусть ты б
повелевала,
По крайней мере нас повсюду б не
швыряла,

А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да между нами ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И может иногда, споткнувшись — как же
быть —
Твое Величество об камень расшибить».

Смысл этой басни всякий знает...
Но должно — ти! — молчать: дурак — это
всё болтает.

РЕКА И ЗЕРКАЛО

За правду колючую, за истину святую,
За сих врагов царей, — деспот
Вельможу осудил: главу его седую
Велел снести на эшафот.

Но сей успел добиться
Пред грозного царя предстать —
Не с тем, чтоб плакать иль крушиться,
Но, если правды не боится,
То чтобы басню рассказать.
Царь жаждет слов его; философ не
страшится

И твердым гласом говорит:

«Ребенок некогда сердился,
Увидев в зеркале свой безобразный вид;
Ну в зеркало стучать, и в сердце веселиться,
Что может зеркало разбить.

На утро же, гуляя в поле,
Свой гнусный вид в реке увидел он опять.
Как реку истребить? Нельзя, и поневоле
Он должен был и стыд и срам питать.
Монарх, стыдись! Ужели это сходство

Прилично для тебя?..

Я — зеркало: разбей меня,

Река — твоё потомство:

Ты в ней найдешь еще себя».

Монарха речь сия так сильно убедила,
Что он велел ему и жизнь, и волю дать...
Постойте, виноват! — велел в Сибирь
сослать,
А то бы эта была на басню походила.

СОН

Кто столько мог тебя, мой друг,
развеселить?

От смеха ты почти не можешь говорить.
Какие радости твой разум восхищают,
Пль деньгами тебя без векселя сужают?
Пль такия тебе счастливая пришла
И двойка трантель-ва на выдержку взяла?
Что сделалось с тобой, что ты не
отвечаеть?

— Ах! дай мне отдохнуть, ты ничего не
знаешь!

Я, право, вне себя, я чуть с ума не спел:
Я ноньче Петербург совсем другим нашел!
Я думал, что весь свет совсем переменялся:
Вообрази — с долгом И[арышки]н
расплатился,

Не видно более педантов, дураков,
И даже поумнел З[агряжск]ой, С[вистун]ов!
В несчастных рифмачах старинной нет
отваги,

И милой наш Марии не пачкает бумаги,
А, в службу углубясь, трудится головой:
Как, заводивши взвод, во время крикнуть:
стой!

Но больше я чему с восторгом удивлялся:

Ко[п]ев, который так Ликургом
притворялся,
Для счастья нашего законы нам писал,
Вдруг, к счастью нашему, писать их перестал.
Во всем счастливая явилась перемена,
Исчезло воровство, грабительство, измена,
Не видно более ни жалоб, ни обид,
Ну, словом, город взял совсем противный
впл.

Природа красоту дала в удел уроду
И сам Л[ава]ль престал коситься на
природу,
Б[агратио]на пос вершком короче стал,
И Д[иб]ич красотой людей перепугал,
Да я, который сам, с начала своего века,
Носил с натяжкой название человека,
Гляжуся, радуюсь, себя не узнаю:
Откуда красота, откуда рост — смотрю;
Что слово — то bon-mot,¹ что взор — то
страсть вселяю.

Дивлюся — как менять интриги успеваю!
Как вдруг, о гнев небес! вдруг рок меня
сразил:
Среди блаженных дней Андриюшка разбудил.
И всё, что видел я, чем столько веселился, —
Всё видел я во сне, всего со сном лишился.

¹ Острое словцо.

БУРЦОВУ

Призывание на пунш

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради бога и... арака
Посети домишко мой!
В нем нет нищих у порогу,
В нем нет зеркала, ваз, картин,
И хозяин, слава богу,
Не великий господин.
Он гусар и не пускает
Мишурою пыль в глаза;
У него, брат, заменяет
Все диваны — куль овса.
Нет курильниц, может статься,
Зато трубка с табаком;
Нет картин, да заменятся
Ташкой с царским вензелем!
Вместо зеркала сияет
Ясной сабли полоса:
Он по ней лишь поправляет
Два любезные уса.
А на место ваз прекрасных,
Беломраморных, больших,
На столе стоят ужасных
Пять стаканов пуншевых!

Они полны, уверяю,
В них сокрыт небесный жар,
Приезжай, я ожидаю,
Докажи, что ты гусар.

БУРЦОВУ

В дымном поле, на биваке
У пылающих огней,
В благодетельном зраке
Зрю спасителя людей.
Собирайся в круговую,
Православный весь причёт!
Подавай дохань златую,
Где веселие живет!
Наливай обширны чаши
В шуме радостных речей,
Как пивали предки наши
Среди коний и мечей.
Бурцов, ты — гусар гусаров!
Ты на ухарском коне
Жесточайший из угаров
И паездник на войне!
Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить еще досужно;
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят.
Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, поблднеем,
Пожалеем нашу грудь

И в несчастьи оробеем;
Если мы когда дадим
Левый бок на фланкировке,
Или лошадь осадим,
Или миленькой плутовке
Даром сердце подарим!
Пусть не сабельным ударом
Пресечется жизнь моя!
Пусть я буду генералом,
Каких много видел я!
Пусть среди кровавых боев
Буду бледен, боязлив,
А в собрании героев
Остр, отважен, говорлив!
Пусть мой ус, краса природы,
Черно-бурый, в завитках,
Посечется в юны годы
И исчезнет, яко прах!
Пусть фортуна для досады,
К умножению всех бед,
Даст мне чин за вахтпарады
И Георгья за совет!
Пусть... Но чу! гулять не время!
К коням, брат, и ногу в сгрома,
Саблю воп — и в сечу! Вот:
Пир пшой нам бог дает,
Пир задорней, удалее,
И шумней, и веселее...
Нутка, кивер набекрень,
И — ура! Счастливей день!

ГУСАРСКОЙ ПИР

Радн бога трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай
С закрученными усами!
Чтобы хором здесь гремел
Эскадрон гусар летучих,
Чтоб до неба возлетел
Я на их руках могучих;
Чтобы стены от ура
И тряслись, и трепетали!
Лучше б в поле закричали...
Но другие горло драли:
«И до нас придет пора!»
Бурцов, брат, что за раздолье!
Пунш жестокой!.. Хор гремит!
Бурцов, пью твое здоровье:
Будь, гусар, век пьян и сыт!
Понтируй, как понтируешь,
Фланкируй, как фланкируешь;
В мирных днях не унывай,
И в боях качай-валяй!
Жизнь летит: не осрамися,
Не проси ее полет,
Пей, люби да веселися!
Вот мой дружеский совет.

МУДРОСТЬ

Анакреонтическая ода

Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,
По бокалу осушали
И просили Мудрость вон.

«Детушки, поберегитесь!»
Говорила Мудрость нам.
«Пить не должно; воздержитесь:
Этот сок опасен вам».

«Бабушка!» сказал плутишка,
«Твой совет законом мне.
Я — послушливый мальчишка,
Но... вот капелька тебе, —

Выпей!» — Бабушка напрасно
Отговаривалась пить.
Как откажешь? Бог прекрасной
Так искусен говорить.

Выпила и нам твердила
О воздержности в вине;
Еще вышив, попросила,
Что осталось на дне.

И старушка зашаталась,
Не нашедши больше слов;
Зашатавшись, спотыкалась,
Опираясь на Любовь.

ДОГОВОРЫ

Довольно... я решен: люблю тебя... люблю.
Давно признанию удобный миг ловлю,
И с уст трещащих слететь оно готово,
Но взглянешь ты — смущаюсь я
И в сердце робкое скрываю от тебя
Всё бытие мое, вмещающее слово.
Бегу тебя... вотще!.. полна
Безумная душа тобою,
В мечтах бессонницы и в жарких грезах сна,
Неотразимая! ты всюду предо мною.
Прилично ль это мне? — Прошла, прошла пора
Тревожным радостям и бурным наслаждениям,
Потухла в сумраке весны моей зари;
Напрасно предаюсь привычным заблуждениям,
Напрасно! — мне ль тебя любить?
Мне ль сердце юное к взаимности склонить?
Увы, не в седирах сердца обворожаешь!

Всё правда!.. но вчера... ты знаешь...
Могу ли позабыть наш тайный разговор!

Ты резвостью мила; но вздох, но томный взор,
Но что задумчивость твоя мне обещают?
Сказать ли всё тебе? Уж в свете примечают,
Что ты не так резва, беспечна и меня
Безмолвно слушаешь. Вчера рука твоя
Моей не покидала,
Она в руке моей горела, трепетала,
И ты глядела — на кого?
Глядела на меня, меня лишь одного...
Я видел всё... да, я люблю тобою!
Как выражу восторг я сердца моего?

Теперь заранее нам должно меж собою
Согласно начертать сердечный договор;
Мы тем предупредим семейственный раздор,
Неудовольствия и неизбежны споры...

Вот первая статья:

Мы будем жить одни, глаз на глаз, ты да я.
Здесь тьма насмешников, которых разговоры
Кипят злословием; — ехидных языков
Я, право, не боюсь; но модных болтунов,
Кудрявых волокит, с лорнетами, с хлыстами,
С очками на носу, с надутыми брыжжами —
Как можно принимать? — Нет, без обиняков,
Нет, нет, решительно: откаж-им невозвратный!
И для чего нам свет и чепорный, и знатный,
Рой обожателей и шайка сорванцов?
К чему, скажи ты мне, менять нам тихий кров

И мирную любви обитель

На шумный маскарад нахалов и шутов?
Бог с нами! что до них! я обществ не
любитель.

И враг любезникам. Могу ль переносить
И угождения, и в дружбе уверенья
Вертявых шаркунов? Имеешь позволение.
Раз в месяц... два раза — принять и
угостить.

Мне с детства моего знакомого соседа
Семидесяти лет. О, как его беседа
Полезна для души! Какой он явный враг
Всем ветреным забавам, развлеченьям,
Пирам и праздникам, и светским
угождениям.

Итак, мой сделан первый шаг,
И первая статья написана. Вторая:
Прошу театр не посещать.
Но это — жертва не большая:
Ах, нам ли время убивать,
За наслаждением искусственным
стремиться?

Миг дорог для любви! Мой друг, мой юный
друг.
Минута праздная чем может наградиться?
К тому ж, что видим мы в театрах? —
Малый круг

Разумных критиков, а прочие — зеваки,
Глупцы, насмешники, невежды, забияки.
Открылся занавес: неистовый Герой
Завоев на стихах и, в бешенстве жеманном,
Дрожащую княжну дрожащею рукой

Ударит невиннояд кинжалом деревянным;
Иль, небу и земле отмищенем грозя,
Пронзает грудь свою и, выпуча глаза,
Весь в клюквенном соку, кобеньясь,
умирает...

И ужинать домой с княжною уезжает.
Комедия тебя неужто веселит?

Чему учиться в ней? лукавствовать,
смеяться

Над добрыми людьми? Но можно ль
забавляться

Несчастьем ближнего? — Там старичок
сменит,

Что поздно полюбил, — но кто повелевает
Волненьем страстей? Там мужа
наряжает

Прической модною прелестная жена —
И муж бодается; насмешка не одна

Язвит любовников ревнивых!..
Что тут веселого? — К тому ж не вижу ль я

Опять соборища сленцов многоречивых!
Куда деваться мне? куда укрыть тебя

От жадных взглядов их и уст
медоточивых?

Уж вот они, — шумят! Уж в ложе, — боже
мой!..

Уж пять наездников меж мною и тобой!..
И вот еще один теснится с пзвиненьем...

И я у приголки! — Любезные слова
Их слушать осужден с досадою, с

нетерпеньем!..
Молчу! Что делать мне? — Супружные

права

Теряют действие в собраниях многолюдных.
Но зрелищу конец, и мы идем с толпой
К подъезду... ах, и тут не легче жребий мой:

И тут я сволочью нахалов безрассудных
Затолкан до смерти! Они спешат, летят,
Усердствуют тебе и руку предлагают...
Возможно ль отказать? учтивость, говорят,
Отказам первый враг. Глаза мои теряют
Тебя средь моря шуб, капотов, сертуков.
И шляп с султанами, и шапок, и чепцов!
Не черти ли назло мне путь пересекают?
Везде пренятствия! — и я один брожу...

Нет, именем любви тебя прошу
Забыть навек театр, любви моей опасный!

Не всё, не всё еще: танцуешь ты
прекрасно,

Я знаю; но тебе на балах не бывать.
Как, будешь ты на бал заранее наряжаться,

С намереньем приготовляться,
Чтоб правиться другим, прельщать,
обворожать?..

Так, стало, для других и локоны волнисты
Завьются? Для других и яхонты огнисты,
Алмазы ярче зажгутся в волосах,
Всё это для других? — И в золоте, в
лучах,

Богиня празднества, кадимая жрецами
И упоенная мольбами и хвалами,
Из жалости одной взор бросишь на того,
Кто более всех любит, — и кого

Ты не нарядами, не блеском привлекаешь,
Но сердцем, но умом, но скромностью
пленаешь!..

Но вальсы начались. На вальс тебя просить
Подходит юноша. Он, с видом боязливым,
Бродящим взором, торопливым,
Окнинул общество и взор остановить
Решился на тебе... И кто не восхитится,
Увидевши тебя! Уж он с тобой вертится...
Злодей! Уж он, обняв твой гибкий, стройный
стан,

Летает... до полу из милости касаясь,
И ты лицо с лицом!.. А я?.. я, разрываясь,
Опять у притолки! А я? Опять в обман
Попался! Думал быть с тобою неразлучен,
Ждал удовольствия — теперь несносен,
скупен,

В отчаянии, взбешен! — Но вальса вихрь утих,
И ты спленишь ко мне, чтоб перевести
дыханье:

Я ожил, я забыл и горе и страданье,
Но, ах, надолго ли? — Рой франтов молодых
В погоне за тобой, и ты с одним из них —
Прекраснейшим, любезнейшим... Нет,

полно!
Нет, балы позабуди! Утешь меня!.. Довольно
Измучен уже я одной мечтой моей!

Для рассудительных, бесчувственных людей
Я странен, может быть? Что ж делать, друг
мой милый,
Могу ли быть тебе несносен от того?

Не я виновен в том. Я сердца моего
Могу ль избавиться? Какою силой
Дам чувства новые ему?
Мне скажут: я тебя на скуку осуждаю,
Твой дом — в безлюдную тюрьму,
Столиду — в монастырь пустынный
обращаю...

О, нет! я сам хочу, чтоб всюду за тобой
Утех, радости стремились толпой...
Но я покой люблю, но скромность обожаю...
И потому тебя в деревню призываю.
Огромны здания не пужны нам с тобой:
Чертог, украшенный искусною рукой,
Очаровательный, чудесный,

Не так мне нравится, как сельский домик
тесны,
Но светлый и простой; я тесноту люблю:
Боюсь далеко жить от той, с кем жизнь
делю!

В одной же горнице кто шепчет, кто
вдыхает,
Кто стукнет, заскрипит, на пыночках
ступает, —

Я вижу, слышу, знаю всё —
И сердце от того спокойнее мое.
Чего ж еще желать блаженства к
дополненью?

Во вкусе английском, простом,
Я рошу насажу, она окружит дом,
Пустыню оживит, даст пищу размышленью;
Вдоль роши побегит струнный ручеек;
Там нивы гибкие беседкою сплетутся;

Березы над скамьей, развесившись,
нагнутся;
Там мшистый, темный грот, там светленький
лужок

И даже огород приманит нас порою
Своей роскошною и скромной простотою.
Мы будем счастливы природой и собою!
Недалеко межа пустышников владенью...
Но сколько места в нем живому
наслажденью!

Бог с ними, с благами роскошных гордецов!
Им мир и блеск мирской — нам угол и
любовь.

Друзья, товарищи трудов моих смиренных
Кто будут? Жители села с простым умом;
Ум стоит остроты: в невежестве своем
Они почтеннее людей высокомерных,
Которых называть опасно... Замолчу!..
Итак, с тобою я в деревню полечу,
Забывши светские печальные забавы,
И общежитие, и модные уставы.
О, сколько радостей нас ожидает там!
Скитаться будем мы по рощам, по горам,
Куда глаза глядят... Но только всё со
мною,

Не разлучаясь, рука с рукою.
Найдем красивый вид: мы, восхищаясь им,
Приостановимся и взоры уладим,
И сердце сладкими наполнится мечтами...
Но вечерет день, уж солнце за горами,
И сумрак стелется; мы тихою стопой
Идем, задумавшись, с растроганной душой,
Спокойны, счастливы. Деревню переходим,

Но мимо хижинны убогой не проходим;
Там скорбь безмолвную ты в рубище
найдешь...

Смотри: мать бледная с детьми к тебе
теснится;
Ты всем несчастным друг, ты помощь им
дашь,

И жаркая слеза из глаз твоих катится.
Так дни проводишь ты. Там щедрою рукой
Дарить приданое невесте молодой;
Там старца дряхлого ты лета уважаешь:
Почетную скамью на свадьбе уступаешь;
И в скромном платье, без вычурных
чудес,

Ты всем являешься посланницей небес.
Так в радостях любви мы дней не замечаем
Так жизнь летящую в блаженство обращаем

Ратификации трактату моему
Я с нетерпеньем жду. Доверься своему
Ты другу — *подними статьи первоначальны;*
Доволен будет он. Со временем ему
Осенни вечера, мечты, прогулки дальны
Внушат важнейшие. Придет счастливый
час —

И тайные статьи явятся на показ.

ЧИЖ И РОЗА

Басня

Дочь юная весны молодой,
Румяна Роза расцветала
И утреннею красотой
Сердца невольно привлекала.
И Чижик Розу полюбил;
Он путь к красавице направил,
Кочующих друзей оставил
И день и ночь при Розе жил.
Качаясь на зеленой ветке,
Где ждал награды для себя,
Хорошенькой своей соседке
Он говорил: «Люблю тебя!»
«Уж многие любить кланутся»,
Сказала Роза, «так, как ты;
Когда ж лишусь я красоты,
Где верные друзья найдутся?»
«Мне быть неверным? Никогда!» —
Поет любовник легкокрылый —
«Напротив: страсть моя тогда
Еще усилится, друг милый!»
Амур тогда в саду летал;
Ему ль оставить это дело?
Он вдруг дыханье удержал,
И всё в природе охладело.

Бореи свищут, прах метут;
Листочки Розы побледнели.
Зефиры, мотыльки взлетели,
И следу нет!.. А Чижик тут.
«Ах, если ты находишь счастье
В моей любви», он говорил,
«Утешься! Я люблю в несчастье,
Как в утро красное любви!»
Бог удивился не напрасно,
Он щедро наградил чету:
Удвоил Розы красоту,
И Чиж один любим был страстно.

Смысл басни, кажется, найден;
Его ты знаешь, друг мой милый
Я — тот любовник легкокрылый,
Но как за верность награжден?

Поведай подвиги усатого героя,
О Муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.

Румяный Левенгольм на бой приготавлился
И, завязав жабо, прическу поправлял,
Ниландский полк его на клячах выезжал,
За ним и корпус весь Клингснора
пресмыкался;
О, храбрые враги, куда стремитесь вы?
Отвага, говорят, ничто без головы.

Наш Кульнев до зари, как сокол,
встрепенулся;
Он воинов своих ко славе торопил:
«Вставайте», говорит, «вставайте, я
проснулся!
С охотниками в бой! Бог храбрости и сил!
По чарке, да на конь, без холи и затеев;
Чем ближе, тем видней, тем легче бить
злодеев!»¹

¹ Приказ Кульнева накануне нападения, которое было назначено за два часа до рассвета. (Примечание Д. Давидова.)

Всё вмиг воспрянуло, всё двинулось
вперед...
О Муза, расскажи торжественный поход!

ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ

Если б боги милосердия
Были боги справедливости,
Если б ты лишилась прелестей,
Нарушая обещания...
Я бы, может быть, осмелился
Быть невольником преступницы!
Но, Аглая, как идет к тебе
Быть лукавой и обманчивой!
Ты изменишь — и прекраснее!
И уста твои румяные
Еще более румянятся
Новой клятвой, новой выдумкой!
Голос, взор твой привлекательней
И, богами вдохновенная,
Ты улыбкою небесною
Разрушаешь все намеренья
Разлюбить неразлюбимую!
Сколько пленников скитается,
Сколько презренных терзается
Вкруг обители красавицы!
Мать страшится называть тебя
Сыну, юношью кипящему,
И супруга содрогается,
Если взор супруга верного
Хотя раз, хоть на мгновение
Обратится на волшебницу!..

ГРАФУ П. А. СТРОГОНОВУ

*За чекмень, подаренный им мне во время
войны 1810 года в Турции*

Блаженной памяти мой предок Чингисхан,
Грабитель, озорник, с аршинными усами,
На узарском коне, как вихрь перед громами,
В блестящем панцире влетал во вражий
стан

И мощно рассекал татарскою рукою
Всё, что противилось могущему герою.
Почтенный пращур мой, такой же грубиян,
Как дедушка его, нахальный Чингисхан,
В чекмене легоньком, среди мечей разящих,
Ордами управлял в полях, войной гремящих.
Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю;
Как пращур мой Батый, готов на бранню
прю.

Но мне ль, любезный граф, в французском
одеяньи
Явиться в авангард, как франту на гулянье,
Завязывать жабо, прическу поправлять
И усачам себя Линдором показать!
Потомка бедного ты пожалей Батыя
И за чекмень прими его стихи дурные!

МОЯ ПЕСНЯ

Я на чердак переселился:
Жить выше, кажется, нельзя!
С швейцаром, с кучером простился
И повара лишился я.
Толпе заимодавцев знаю
И без швейцара дать ответ;
Я сам дверь важно отворяю
И говорю им: дома нет!

В дни праздничные для катанья
Готов извозчик площадной,
И будуар мой, зала, спальня
Вместились в горнице одной.
Гостей искусно принимаю:
Глупцам — показываю дверь,
На стул один — друзей сажаю,
А миленькую... на постель.

Мои владенья необъятны:
В окрестностях столицы сей
Все мызы, где собранья знатны,
Где пир горой, толпа людей.
Мои все радости — в стакане,
Мой гардероб лежит в ряду,
Богатство — в часовом кармане,
А сад — в Таврическом саду.

Обжоры, пьяницы! хотите
Житье-бытье мое узнать?
Вы слух на песнь мою склоните
И мне старайтесь подражать.
Я завтрак сытный получаю
От друга, только что проснусь;
Обедать — в гости уезжаю,
А спать — без ужина ложусь.

О богачи! не говорите,
Что жизнь несчастлива моя.
Нахальству моему простите,
Что с вами равен счастьем я.
Я кой-как день переживаю —
Богач роскошно год живет...
Чем кончится? И я встречаю,
Как миллионщик новый год.

В АЛЬБОМ

На вьюке, в тóроках цевницу я таскаю,
Она и под локтём, она под головой;
Меж конских ног позабываю
В пыли, на влаге дождевой...
Так мне ли ударять в разлаженные струны
И петь любовь, луну, кусты душистых роз?
Пусть загремат войны перуны,
Я в этой песне виртуоз!

ЭПИГРАММЫ

К портрету Бонапарте

Сей Корсиканец целой век
Гремит кровавыми делами.
Есть по сту тысяч человек
И с <...> т королями.

К портрету NN

Говорят хоть очень туго,
Но в нем это мудрено:
Что он умничают глупо,
А дурачится умно.

На К.

*Bout-rimé*¹

В любезности его неодолимый — *труз*,
В нем не господствуют ни соль, ни — *перец*;
Я верю: может быть, для немца он —
француз,
Но для француженка он — *немец*.

¹ Буриме — стихи на заданные рифмы.

На него же

А кто он? — Француз, германец,
Франт, философ, скряга, мот,
То блудлив как ярый кот,
То труслив как робкий заяц;
То является тоним
Чувством жалостно унылым,
То бароном легкокрылым,
То маркизом пудовым.

Надпись к сочинениям Г **

Он с цветочка на цветок,
С стебелька на стебелек
Мотыльком перелетает;
Но сколь рок его суров:
Все растения он лобзает,
Кроме... лавровых листов!

Эпиграмма

Остра твоя, конечно, шутка,
Но мне прискорбно видеть в ней
Не счастье твоего рассудка,
А счастье памяти твоей.

ЭЛЕГИЯ I

Возьмите меч — я недостойн брани!
Сорвите завр с чела — он страстью помрачен!
О, боги Пафоса, окуйте мощны длани
И робким пленником в постыдный риньте плен!

Я — вам! И кто не воспызает!
Кому не пишется любовью приговор,
Как длинные она ресницы подымает,
И пышет страстью взор!
Когда Харитой улыбнется,
Или в ночной тиши
Воздушным призраком несется,
Иль, непреклонная, над чувствами смеется
Обуреваемой души!

О, вы, которые здесь прелестью гордитесь!
Не вам уж более покорствуем любовь,
Взгляните на нее и сердцем содрогнитесь:
Она — владычица и смертных, и богов!
Ах, пусть бог Фракии мне срамом
угрожает

И, потрясая лавр, манит еще к боям, —
Воспитанник побед прах ног ее лобзает,
И говорит *прости!* торжественным
венкам...

Но кто сей юноша блаженной,
Который будет пить дыхание воспаленно
На тающих устах,
Познает мленье чувств в потушенных
Очах...

И на груди се воздремлет утомленной?
Чего ему тогда останется желать?
Чего искать ему? — он всё уже имеет!
Он выше всех царей достоин восседать!
Он бог, пред коим мир, склонясь,
благоговевт!

ЭЛЕГИЯ II

Пусть бога-мстителя могучая рука
 На теме острых скал, под вечными снегами,
 За ребра прикует чугунными цепями
 Того, кто изобрел ревнивого замка
 Закрепы звучные и тяжкими вратами,
 За холодными стенами,
 Красавиц заточил в презрении к богам!

Где ты, рожденная к восторгам, торжествам,
 И к радостям сердец, и к счастью юной
 страсти,

Где ты скрываешься во цвете ранних лет,
 Ты, дева горести, воспитанница бед,
 Смиренная раба неумолимой власти!

Увижу ли тебя, услышу ль голос твой?

И долго ль в мрачности ночной
 Мне с душой горестной, с душой осиротелой
 Бродить вокруг обителя твоей,
 Угадывать окно, где ты томилась в ней,
 Меж тем, как снежный вихрь крутит среди
 полей,

И свищет резкий ветер в власях оледенелых!
 Ах! может быть, к окну влекомая судьбой
 Или предчувствием каким неизъяснимым,
 Ты крадешься к нему, когда мучитель твой,

Стан гибкий обхватя, насильственной рукой
 Бросает трепетну к подругам торопливым!

Встань, о бог богов! Да пламенной рекой
 Твой гнев жестокой и правдивой
 Обрушится с небес на зданье горделиво,
 Темнищу адескую невинности молодой;
 И над строитвную преступника главой
 Перуны ярые со треском разразятся!
 Тот, кто осмелится бесчувственно касаться
 До юных престестей красавицы моей,
 Тот в буйной дерзости своей
 И лик священный твой повергнет
 раздробленный

И рушит алтари, тебе сооруженны!
 А ты, любимца богов,
 Ты бедствий не страшись — невидимый
 покров

Приосепит тебя от бури разъяренной,
 Твой спутник — бог любви — стезею
 потаенной

Он провести прекрасную готов
 От ложа горести до ложа наслажденья...

О, не чуждайся ты благого поученья
 Бессмертного вожда! Учись во тьме ночной
 Как между стражами украдкой пробираться,
 Как мягкою стопой чуть до полу касаться,
 И ошущию идти по лестнице крутой.

Держай! Я жду тебя, кипящий нетерпеньем!
 Тебе ль, тебе ль платить обидным
 подозреньем

Владыке благ земных? Ты вспомни, сколько
раз
От бдительных монахов и ненасытных глаз
Твой аргус в трепетном смущеньи
Тебя с угрозой похищал
И тайным влек путем обратно в заточенье!..

Всё тщетно! И ему стезю пересекал.
Крылатый проводник меня предупреждал
И путь указывал мне прежде неизвестной.
Решись без робости, о сердца друг
прелестной!

Не медли: полночь бьет,
И угасающи лампы закурились,
И стражи грозные во мраке усыпились...
И руку бог любви прекрасной подает!

ЭЛЕГИЯ III

О, милый друг, оставь угадывать других
Предмет, сомнительный для них,
Тех песней пламенных, в которых,
восхищенный,
Я прославлял любовь, любовью
распаленный!
Пусть ищут, для кого я в лиру ударял,

Когда поэтов в хоре
Российской Терпсихоре
Восторги посвящал!
Но ты не в заблужденьи,
Кого в воображеньи
Я розами венчал,
Чьи длинные ресницы,
Звук стройных девичьи
Потомству предавал!
И мне ли огонь желанья
В других воспламенять,
Мне ль нового искать
В любви очарованья?
Я страстен лишь тобой!..
Под именем другой
Тебя лишь славят струны,
И для тебя одной
Бросаю в вражий строй

Разящие перуны!
Восторгом упоен,
Века предупреждаю
И, миртом осенен,
Бессмертные вкушаю.

ПЕСНЯ

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!

За тебя на чорта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
За тебя на чорта рад,
Наша матушка Россия!

Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами,
Днем — рубиться молодцами,
Вечерком — горелку пить!
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами!

О, как страшно смерть встречать
На постеле господином,
Ждать конца под балдахином
И всечасно умирать!

О, как страшно смерть встречать
На постеле господином!

То ли дело средь мечей:
Там о славе лишь мечтаешь,
Смерти в когти попадаешь,
И не думая о ней!
То ли дело средь мечей:
Там о славе лишь мечтаешь!

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!

ДРУГУ-ПОВЕСЕ

Болтун красноречивый,
Повеса дорогой!
Оставим свет шумливый
С беспутной суетой.
Пусть радости игривы,
Амуры шаловливы,
И важных Муз сиклант,
И троица Харит
Украсят день счастливый!
Друг милый, вечером
Хоть на часок покинем
Вельмож докучный дом
И к камельку подвинем
Диваны со столом,
Плодами и вином
Роскошно покровешным
И гордо отягченным
Страсбургским пирогом.
К нам созван круг желанный
Отличных сорванцов,
И плющем увенчанны,
Владельцы острых слов,
Мы Вакховых даров
Потянем сок избранный!
Прошу тебя забыть

Нахальную уловку,
И крепс, и понтировку,
И страсть людей губить,
А лучше пригласить
Изменницу, плутовку,
Которую любить
До завтра, может быть,
Вчера ты обещался.
Проведавши мой зов,
На пир ко мне назвался
Эрот, сей бог богов,
Веселых шагунов
Любимец и любитель,
Мой грозный повелитель
До серебряных волос.
Я место назначаю
Почетное ему,
По сану и уму:
Прекрасного сажая
Близ гостыи молодой
И тяжкий кубок мой
Чете препоручаю.
И пробка полетит
До потолка стрелою,
И пена зашумит
Сребристою струею
Под розовой рукою
Резвейшей из Харит!
Так время пробежит
Меж радостей небесных, —
А чтоб хмельнее быть,
Давай здоровье пить
Всех ветренниц известных!

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА

Что она? — Порыв, смятенье,
И холодность, и восторг,
И отпор, и увлечение,
Смех и слезы, чорт и бог,
Пыл полуденного лета,
Урагана красота,
Иступленного поэта
Беспокойная мечта!
С нею дружба — упоенье...
Но спаси, создатель, с ней
От любовного сношенья
И таинственных связей!
Огненна, славолюбива,
Я ручаюсь, что она
Неотвязчива, ревнива,
Как законная жена!

ОТВЕТ
НА ВЫЗОВ НАПИСАТЬ СТИХИ

Вы хотите, чтоб стихами
Я опять заговорил,
Но чтоб новыми стезями
Верх Парнасса находил:
Чтобы славил нежны розы,
Верность женския любви,
Где трескучие морозы
И кокетства лишь один!
Чтоб при ташке в доломане
Посошок в руке держал
И при грозном барабане
Чтоб минором воспевал.
Неужель любить не можно,
Чтоб стихами не писать?
И любя, ужели должно
Чувства в рифмы оковать?
По кадансу кто вздыхает,
Кто любовь в цветущий век
Лишь на стопы размеряет,
Тот — прежалкий человек!
Он влюбился — и поспешно
Славит милую свою;
Возрыдая безутешно,
Говорит в стихах: пою!

От Парнасского пареня
Беспокойной головы
Скажет также, без сомненья,
И жестокая: увы!
Я Поэзией небесной
Был когда-то вдохновен.
Дар божественный, чудесный,
Я на век тебя лишен!
Лизой душу занимая,
Мне ли рифмы набирать?
Ах, где есть любовь прямая,
Там стихи не говорят!..

ЭЛЕГИЯ IV

В ужасах войны кровавой
 Я опасности искал,
 Я горел бессмертной славой,
 Разрушением дышал;
 И в безумстве упоенной
 Чадам славы бранных дел, —
 Посреди грозы военной
 Счастье пайти хотел!..
 Но, судьбой гонимый вечно,
 Счастья нет! подумал я...
 Друг мой милый, друг сердечной,
 Я тогда не знал тебя!
 Ах, пускай герой стремится
 За блистательной мечтой,
 И через кровавый бой
 Свежим лавром осенится...
 О, мой милый друг! с тобой
 Не хочу высоких званий,
 И мечты завоеваний
 Не тревожат мой покой!
 Но коль враг ожесточенный
 Нам дерзнет противустать,
 Первый долг мой, долг священный —
 Вновь за родину восстать;
 Друг твой в поле появится,

Еще саблею блеснет,
 Или в лаврах возвратится,
 Иль на лаврах мертв падет!..
 Полумертвый, не престану
 Биться с храбрыми в ряду,
 В память Лизу приведу...
 Встрепенусь, забуду рану,
 За тебя еще восстану
 И другую смерть найду!

ЭЛЕГИЯ V

Всё тихо! и заря багряною стою
 По синеве небес безмолвно пробежала...
 И мгла, что гор хребты и рощи покрывала,
 Волнуясь стелется туманною рекой
 По дугу пестрому и ниве молодой.
 Блаженные часы! Весь мир в отдохновеньи!
 Еще зефиры спят на дремлющих листьях,
 Еще пернатые покоятся в кустах,
 И всё безмолвствует в моем уединеньи...
 Но, боги! неужель вы с мира тишиной
 И чувств души моей порывы усмирили?
 Уже ли и во мне господствует покой?..
 Уже, о счастье! не вижу пред собой
 Я призрак грозный, вечно милый,
 Которого нигде мой взор не покидал...
 Нигде! ни в шумной сече боя,
 Ни в бранных игрищах военного покоя!..
 О ты, что я в тоске на помощь
 призывал,
 Бесчувствие! о дар рассудка драгоценной,
 Ты, вняв мольбе моей смиренной,
 Нисходишь наконец спасителем моим.
 Я погибал... Тобой одним
 Достигнул берега, и с мирных вершины
 Смотрю бестрепетно, грозою невредим,

На шумные валы бездонных пучины!..
 А ты, с кем некогда делился я
 душой,
 И кем душа моя в мученьях истощилась...
 Утешься: ты забыта мной!..
 Но, ах, почто слезой ланита окропилась?..
 О, слезы пламенны, теките! Я свои
 Минуты радости от сих минут считаю
 И вас не от любви,
 Но от блаженства проливаю!

ЭЛЕГИЯ VI

О, ты, смущенная присутствием
моим,
Спокойся: я бегу в пределы отдаленны! —
Пусть избранный тобой вкушает дни
блаженны,

Пока судьбой храним.
Но, ах! Не мысли ты, чтоб новые восторги
И спутник счастливый твоих весенних дней
Изгладил меня из памяти твоей!..
О, нет! Есть суд небес и справедливы боги!
Душевные радости, делимые со мной,
Воспоминания протекших упований
И сладкие часы забвенья и мечтаний,
И я, я сам явлюсь тревожить твой покой!
Но уж не в виде том, как в дни мои
счастливы,

Когда — смущенный, торопливый —
Я плакал без укор, без гнева угрожал
И за вину твою — любовник боязливый —
Себе у ног твоих прощения искал!
Нет, нет! Явлюсь опять, но как посланник
мщенья,

Но как каратель преступленья,
Свиреп, неумолим везде перед тобой:
И среди общества блистательного круга,

И средь семьи твоей, где ты цветешь
душой

В уединении, в объятиях супруга,
Везде, везде в твоих очах
Грозящим призраком, с упреком на устах
Но, нет!.. О, гнев меня к упрекам не
принудит:

Чья мертвая душа тобой оживлена,
Тот благодати твой век, век не позабудет!
Его богам молитва лишь одна:
Да будет счастлива она!..

Но вряд ли счастье твоим уделом будет!

ЭЛЕГИЯ VII

Нет! полно пробегать с улыбкою любви
 Перстами легкими девицу золотую;
 Пускай другой поет и радости свои,
 И жизни счастливой подругу дорогую...
 Я одинок, — как цвет степей,
 Когда, колеблемый грозой освиренелой,
 Он клонится к земле главой осиротелой
 И блекнет средь цветущих дней!
 О, боги, мне ль сносить измену надлежало!
 Как я любил! — В те красные лета,
 Когда к рассеянию всё сердце увлекало,
 Везде одна мечта,
 Одно желание меня одушевляло,
 Всё чувство бытия лишь ей принадлежало!
 О, Лиза! сколько раз на Марсовых полях,
 Среди грозы боев я, презирая страх,
 С воспламененною душою
 Тебя, как бога, призывал
 И в пыль сраженья мчал
 Крылатые полки железною стеною!..
 Кто понуждал меня, скажи,
 От жизни радостной на жадну смерть
 стремиться?
 Одно, одно мечтанье души,
 Что славы луч моей на милой отразится,

Что, может быть, венок, приобретенный
 мной

В боях мечом нетерпеливым,
 Покроет лавром горделивым
 Чело стыдливое подруги молодой!
 Не я ли, вдохновен, касался струн
 согласных

И пел прекрасную!.. Еще Москва полна
 Моих, в стихах, восторгов страстных;
 И если ты еще толпой окружена
 Соперниц, завистью смущенных,
 И милых юношей, любовью упоенных, —
 Неблагодарная! не мне ль одолжена
 Ты торжеством своим?.. Пусть пламень
 пожирает,

Пусть шумная волна навеки поглощает
 Стихи, которыми я Лизу прославлял!..
 Но, нет! Изменницу весь мир давно
 узнал; —

Бессмертие ее уделом остается:
 Забудут, что покой я ею потерял,
 И до конца веков, средь плесков и
 похвал,

Неверной имя пронесется!

А я? — Мой жребий пасть в боях,
 Мечом победы пораженным;
 И, может быть, врагом влеченным на полях,
 Чертить кремнистый путь челом
 окровавленным!..

Так! Я паду в стране чужой,
 Далеко родины, изгнанником невинным:

Никто не окропит холодный труп слезой...
И разбрасает ветер мой прах с песком
пустынным!

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ИЗ ПАРНИ

Сижу на берегу потока.
Бор дремлет в сумраке; всё спит вокруг, а я
Сижу на берегу — и мыслю далеко,
Там, там... где жизнь моя!..
И меч в руке моей мутит струи потока.

Сижу на берегу потока,
Снедаем ревностью, задумчив, молчалив...
Не торжествуй еще, о ты, любимец рока!
Ты счастлив — но я жив...
И меч в руке моей мутит струи потока.

Сижу на берегу потока...
Вздохнешь ли ты о нем, о друг, неверный
друг...
И точно ль он любим? — ах, эта мысль
жестока!..

Кипит отмщеньем дух,
И меч в руке моей мутит струи потока.

НЕВЕРНОЙ

Неужто думаете вы,
 Что я слезами обливаюсь,
 Как бешеный кричу: *увы!*
 И от измены изменяюсь?
 Я — тот же атеист в любви,
 Как был и буду, уверяю;
 И чем рвать волосы свои,
 Я ваши — к вам же отсылаю.
 А чтоб впоследствии не быть
 Перед наследником в ответе,
 Все ваши клятвы *век любить* —
 Ему послал по эстафете.
 Простите! Право, виноват!
 Но если б знали, как я рад
 Моей отставке благодатной!
 Теперь спокойно ночи сплю,
 Спокойно ем, спокойно пью
 И посреди собратов ратной
 Вновь славу и вино пою.
 Чем чахнуть от любви унылой,
 Ах, что здоровей может быть,
 Как подписать отставку милой
 Или отставку получить!

ЭЛЕГИЯ VIII

О, пощади! Зачем волшебство ласк и слов,
 Зачем сей взгляд, зачем сей вздох глубокой,
 Зачем скользят небрежно покров
 С плеч белых и с груди высокой?
 О, пощади! Я гибну без того,
 Я замираю, я немею
 При легком шорохе прихода твоего;
 Я, звуку слов твоих внимая, цепенею...
 Но ты вошла... и дрожь любви,
 И смерть, и жизнь, и бешенство желанья
 Бегут по вспыхнувшей крови,
 И разрывается дыханье!
 С тобой летят, летят часы,
 Язык безмолвствует... одни мечты и
 грезы,
 И мука сладкая, и восхищенья слезы...
 И взор впился в твои красы,
 Как жадная пчела в листок весенней розы.

ПЕСНЯ СТАРОГО ГУСАРА

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

Деды, помню вас и я,
Испивающих ковшами
И сидящих вокруг огня
С красно-сизыми носами!

На затылке кивера,
Доломаны до колена,
Сабли, ташки у бедра,
И диваном — кипа сена.

Трубки черные в зубах;
Все безмолвны, дым гуляет
На закрученных висках
И усы перебегает.

Ни полслова... Дым столбом...
Ни полслова... Все мертвецки
Пьют и, преклонясь челом,
Засыпают молодецки.

Но едва проглянет день,
Каждый по полю порхает;
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.

Конь кипит под седоком,
Сабля свищет, враг валится...
Бой умолк, и вечерком
Снова ковшик шевелится.

А теперь что вижу? — Страх!
И гусары в модном свете,
В вид-мундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!

Говорят умней они...
Но что слышим от любого?
Жоини, да Жоини!
А об водке — ни полслова!

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

ЛОГИКА ПЬЯНОГО

Под вечерок Хрунов из кабачка *Совы*,
Бог ведает куда, по стенке пробирался;
Шел, шел и рухнул. Народ расхохотался.
Чему бы, кажется? Но люди таковы!

Однакож кто-то из толпы —
Почтенный человек! — помог ему подняться,
И говорит: «Дружок, чтоб впредь не
спотыкаться,

Тебе не надо пить»...
«Эх, братец! всё не то: не надо мне
ходить!»

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Сегодня вечером увижусь я с тобою.
Сегодня вечером решится жребий мой,
Сегодня получу желаемое мною —
Иль абшид на покой!

А завтра — чорт возьми! — как зюзя
натянуся;
На тройке ухарской стрелю полечу;
Проснавшись до Твери, в Твери опять
напьюся,
И пьяный в Петербург на пьянство
прискачу!

Но если счастье назначено судьбою
Тому, кто целый век со счастьем незнаком,
Тогда... о, и тогда напьюсь свинья-свиньею,
И с радости пропью прогоны с кошельком!

ГУСАР

Напрасно думаете вы,
Чтобы гусар, питомец славы,
Любил лишь только бой кровавый
И был отступником любви.
Амур не вечно пастушком
В свирель без умолка играет:
Он часто, скучив посошком,
С гусарской саблею гуляет;
Он часто храбрости огонь
Любовным пламенем питает —
И тем милей бывает он!
Он часто с грозным барабаном
Мешает звук любовных слов;
Он так и нам под доломаном,
Вселяет зверство и любовь.
В нас сердце не всегда желает
Услышать стон, увидеть бой...
Ах, часто и гусар вздыхает,
И в кивере его весной
Голубка гнездышко свивает...

ЭПИТАФИЯ

Под камнем сим лежит Мосальский
тощий,
Он весь был в немоги: теперь попал он в
моги.

ВЕЧЕР В ИЮНЕ

Томительный, палящий день
Сгорел; полупрозрачна тень
Немого сумрака приосеняла дали,
Зарницы бегали за синею горой,
И, орошенные росой,
Лука и лес благоухали.
Луна во всей красе плыла на высоту,
Таинственным лучом мечтания питая,
И, преклонясь к лавровому кусту,
Дышала роза молодая.

ОТВЕТ

Я не поэт, я — партизан, казак.
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак.
Нет, не наезднику пристало
Петь, в креслах развываясь, — лень, негу и
покой...
Пусть грянет Русь военной грозой, —
Я в этой песни запеваю!

ТОВАРИЩУ 1822 ГОДА,
НА ПУТИ В АРМИЮ

Мы оба в дальний путь летим, товарищ
мой,
Туда, где бой кипит, где русский штык
бушует,

Но о тебе любовь горюет...
Счастливец! о тебе — я видел сам — тоской
Заныли... влажный взор стремился за тобой;
А обо мне хотя б вздохнули,
Хотя б в окошечко взглянули,
Как я на тройке проскакал
И, позабыв покой и негу,
В курьерску завалясь телегу,
Гусарские усы слезами обливал.

ГЕНЕРАЛАМ, ТАНЦУЮЩИМ НА БАЛЕ
ПРИ ОТЪЕЗДЕ МОЕМ НА ВОЙНУ
1826 ГОДА

Мы несем едино бремя;
Только жребий наш иной:
Вы оставлены на племя,
Я назначен на убой.

ПАРТИЗАН

Отрывок

Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает;
Вдали Кутузова курень
Один, как звездочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,
И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит
Необозримой полосой.

И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.

Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы,

Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет — вольны боги!

Давно незнаем им покой,
Привет родни, взор девы нежный;
Его любовь — кровавый бой,
Родня — Донцы, друг — конь надежный.
Он чрез стремнины, чрез холмы
Отважно всадника проносит,
То чутко шевелит ушами,
То фыркает, то удил просит.

Еще их скок приметен был
На высях, за преградной Нарой,
Златимых отблеском пожара,
Но скоро буйный рой за высь перекатил,
И скоро след его простыл...

.
.
.

Тифлис

ПОЛУ-СОЛДАТ

Нет, братцы, нет: полу-солдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!

Вы видели: я не боюсь
Ни пуль, ни дротика куртинца;
Лечу стремглав, не дую в ус,
На нож и шашку кабардинца.

Всё так! Но прекратился бой,
Холмы усыпались огнями,
И хохот обуял толпой,
И клики вторятся горами,

И всё кипит, и всё гремит:
А я, меж вами одинокой,
Немою грустию убит,
Душой и мыслию далеко.

Я не внимаю стуку чаш
И спорам вокруг солдатской каши;
Улыбки нет на хохот ваш;
Нет взгляда на проказы ваши!

Таков ли был я в век златой
На буйной Висле, на Балкане,
На Эльбе, на войне родной,
На льдах Торнео, на Секване?

Бывало, слово: *друг, явись!*
И уж Денис с коня слезает;
Лишь чашей стукнут — и Денис
Как тут — и чашу осушает.

На скачку, на борьбу готов,
И чтимый *выродком* глупцами,
Он, расточитель острых слов,
Им хлещет прозой и стихами.

Иль в карты бьется до утра,
Раскинувшись на горской бурке;
Или вокруг светлого костра
Танцует с девками мазурки.

Нет, братцы, нет: полу-солдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!

Так говорил наездник наш,
Оторванный судьбы веленьем
От крова мирного — в шалаш,
На сечи, к пламенным сраженьям.

Аракс шумит, Аракс шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,

И Алагёз,¹ нахмуясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный;

И вест с пурпурных садов
Зефир восточным ароматом,
И сквозь серебристых облаков
Луна плывет над Араратом.

Но воин наш не упоен
Ночною роскошью полуденного края...
С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека² грома снеговая...
На нем знакомый вихрь, на нем громады
льда,

И над челом его, в тумане мутном,
Как Русь святая, недоступном,
Горит родимая звезда.

Грузинский князь, газетчик русской,
Героя трусом называл,
Но оплеушиной с закуской
Ему герой наш отвечал:
Он едет к боевому куру,
Спасает родину князька,
А князик держит корректуру
Литературного листка.

¹ Заоблачная гора, из границе Эриванской области.
(Примечание Д. Давыдова.)

² Одна из высочайших гор Кавказского хребта.
(Примечание Д. Давыдова.)

НА СМЕРТЬ NN

Гонители, он — ваш! Вам плески и хвала!
Терзайте клеветой его дела земные,
Но не сорвать венка вам с славного чела,
Но не стереть с груди вам раны боевые

ПРИ ВИДЕ МОСКВЫ, ВОЗВРАЩАЯСЬ С ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ

О, юности моей гостеприимный кров!
О, колыбель надежд и грез честолюбивых!
О, кто, кто из твоих сынов
Зрел, без восторгов горделивых,
Красу реки твоей, волшебных берегов,
Твоих палат, твоих садов,
Твоих холмов красноречивых!

ЗАЙЦЕВСКОМУ

Поэту-моряку

Счастливым Зайцевский, Поэт и Герой!
Позволь хлебопашцу-гусару
Пожать тебе руку солдатской рукой
И в честь тебя высушить чару.
О, сколько ты славы готовишь России,
Дитя удалое свободной стихии!

Лавр первый из длани Камены молодой
Ты взял на Парнасских вершинах;
Ты, собственной кровью омытый, другой
Сорвал на гремящих твердынях;
И к третьему, с лаской вдали колыхая,
Тебя призывает пучина морская.

Мужайся! — Казарский, живой Леонид,
Идет друга на новый пир славы...
О, будьте вы оба отечества щит,
Перун вековой державы!
И гимны победы с ладей окриленных
Пусть искрами брызнут от струн
вдохновенных!

Давно ль под мечами, в пылу батарей
И я попираю дол кровавый,

И я в сонме храбрых, у шумных огней,
Наш стан оглашал песнью славы?..
Давно ль... Но забвеньем судьба меня губит.
И лира немее, и сабля не рубит.

БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ

Элеия

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековой
славы,

И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы...
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках
Погибели врагов предчувственные клики,
Вождь Гомерический, Багратион великий!
Простри мне длань свою, Раевский, мой
герой!

Ермолов! я лечу — води меня, я твой:
О, обреченный быть побед любимым сыном,
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!

Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва!
С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника из друга.

С. А. К—НОЙ

Вы личиком — Пафосский бог,
Вы молоды, вы стройны, как Аглая,
Но я гусар... я б вас любить не мог,
Простите: для меня вы слишком неземная!
К вам светской страстью, как к другой,
Гореть грешно! — С восторженной душой
Мы вам, как божеству, несем кадил
куренье,
Обеты чистые, и гимны, и моление!

ДУШЕНЬКА

*Она еще менее хороша для
глаз, всё обнимающих во
мгновении и на мгновение — как
для души, которая чем больше
ищет, тем более находит.*

Жуковский

Бывали ль вы в стране чудес,
Где, жертвой грозного веленья,
В глуши земного заточенья
Живет изгнанница небес?

Я был, я видел божество;
Я пел ей песнь с восторгом новым
И осенил венком лавровым
Ее высокое чело.

Я, как младенец, трепетал
У ног ее в уничиженьи
И омрачить богослуженье
Преступной мыслью не дерзал.

Ах, мне ль божественной к стопам
Несть обольщения искусство?
Я весь был гимн, я весь был чувство.
Я весь был чистый фимиам.

И что ей наш земной восторг,
Слова любви? — Пустые звуки!
Она чужда сердечной муки,
Чужда томительных тревог.

Из-под ресниц ее густых
Горит и гаснет взор стыдливый...
Но от чего души порывы
И вздохи персей молодых?

Был миг: пролетная мечта
Скользнула по челу прекрасной,
И вспыхнули ланиты страстно,
И загорелися уста.

Но это миг — игра одна
Каких-то дум... воспоминанье
О том небесном обитанье,
Откуда изгнана она.

Иль, скучась без нее, с небес
Воздушный гость, незримый мною,
Амур с повинной головою
Предстал, немеющий от слез.

И очи он возвел к очам
И пробудил в груди волненья
От жарких уст прикосновенья
К ее трепещущим устам.

NN

Вы хороши! — Каштановой волной
 Ваш локон падает на свежие ланиты;
 Как мил ваш взор полузакрытый,
 Как мил ваш стан полунагой!
 Не вы ль оригинал живой
 Очаровательной Хариты,
 Канóвы созданной рукой?
 Вы хороши! — Но мой покой
 Неколебим. Осанка величава,
 Жеманная тоска искусственной любви
 Не страшны мне: моя отравы —
 Взор вдохновительный и слово от души.
 Я их пишу давно, давно не обретая.
 Вам не сродни крылатый бог:
 Жизнь ваша — стрелка часовая,
 Арифметический итог. —
 Но та, которую люблю не называя...
 Ах! та вся — чувство, вся — восторг,
 Как Пиндара строфа живая!

ГОЛОДНЫЙ ПЕС

Ох, как храбрится
 Немецкий фон,
 Как горячится
 Наш хер-барон.
 Ну, вот и драка,
 Вот лавров воз!
 Хватай, собака,
 Голодный пес.

Кипят и рдеют
 На бой полки;
 Знамена веют,
 Горят штыки,
 И забияка
 Палаш вознес!
 Хватай, собака,
 Голодный пес.

Адрианополь
 Без битв у ног,
 Константинополь
 В чаду тревог.
 Что ж ты, зевака,
 Повесил нос?
 Хватай, собака,
 Голодный пес.

Лях из Варшавы
Нам кажется шип,
Что ж ты, шаршавый,
Под лавкой спишь?
Задай, лаяка,
Варшаве чёс!
Хватай, собака,
Голодный пес.

«Всё это жжется...
Я братъ привык,
Что так дается...
Царь-град велик.
Боюсь я лаха!..»
А ты не бось!
Хватай, собака,
Российский пес.

Так вот крещенды
Звезд, лент, крестов,
Две-три аренды,
Пять-шесть чинов;
На шнапс, гуляка,
Вот денег воз!
Схватил собака,
Голодный пес.

ГУСАРСКАЯ ИСПОВЕДЬ

И каюсь! я гусар давно, всегда гусар,
И с проседью усов — всё раб мздой
привычки:
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки.
От юности моей враг чопорных утех, —
Мне душно на пирах без воли и распахки.
Давай мне хор цыган! Давай мне спор и
смех,
И дым столбом от трубочной затяжки!

Всю век сборища, где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом;
Где спесь да подлости, вельможа да холоп,
Где заслоняют нам вихрь танца эполеты,
Где под подушками потеет столько ж...
Где столько пуз затянута в корсеты!

Но не скажу, чтобы в безумный день
Не погрешил и я, не посетил круг модной;
Чтоб не искал присесть под благодатну тень
Расскашницы и сплетницы дородной;

Чтоб схватки с остряком бонтонным убежал.
Или сквозь локоны ланиты воспаленной
Я б шопотом любовь не папевал
Красавице, мазуркой утомленной.

Но то — набег, наскок; я миг ему даю,
И торжествуют вновь любимые привычки
И я спешу в мою гусарскую семью,
Где хлопают еще шампанского оттычки.
Долой, долой крючки, от глотки до пупа!
Где трубки?.. Вейся, дым, на удахом
раздолье!

Роскошествуй, веселая толпа,
В живом и братском своеволье!

NN

Вошла — как Психея, томна и стыдлива,
Как юная Пери, стройна и красива...
И шопот восторга бежит по устам,
И крестятся ведьмы, и тошно чертам!

Ей

В тебе, в тебе одной природа, не искусство,
 Ум обольстительный с душевной простотой,
 Веселость резвая с мечтательной душой
 И в каждом слове мысль, и в каждом взоре
 чувство!

Вальс

Ев. Д. З...вой

Кипит поток в дубраве шумной
 И мчится скачущей волной,
 И катит в ярости безумной
 Песок и камень вековой.
 Но, покори красой невольной,
 Колышет ласково поток
 Сметевший с берега на волны
 Весенний, розовый листок.
 Так бурей вальса не сокрыта,
 Так от толпы отличена,
 Летит воздушна и стройна
 Моя Любовь, моя Харита,
 Виновница тоски моей,
 Моих мечтаний, вдохновений,
 И поэтических волнений,
 И поэтических страстей!

Пенза

О, кто, скажи ты мне, кто ты,
Виновица моей мучительной мечты?
Скажи мне, кто же ты? — Мой ангел ли
хранитель,

Иль злобной гений-разрушитель
Всех радостей моих? — Не знаю, но я твой!
Ты смела на главе венок мой боевой,
Ты из души моей изгнала жажду славы
И грезы гордые, и думы величавы.
Я не хочу войны, я разлюбил войну, —
Я в мыслях, я в душе храню тебя одну.
Ты сердцу моему нужна для трепетанья,
Как свет очам моим, как воздух для
дыханья.

Ах! чтоб без трепета, без ропота терпеть
Разгневанной судьбы и гробы, и волненья,
Мне надо на тебя глядеть, всегда глядеть.
Глядеть без усталости, как на звезду спасенья!
Уходишь ты, — и за тобою вслед
Стремится мысль, душа несется,
И стынет кровь, и жизни нет!..
Но только что во мне твой шорох отзовется,
И жизни чувствую прилив, я вижу свет,
И возвращается душа, и сердце бьется!..

РОМАНС

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и неуступлений,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,
Которой память — мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.

Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холонокровье,
Чем мой обманчивый покой.

Я вас люблю так, как любить вас должно:
Наперекор судьбы и силней городских,
Наперекор, быть может, вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.
Я вас люблю, — не оттого, что вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой
дышет,
Уста роскошествуют и взор востоком
пышет,
Что вы — поэзия от ног до головы!
Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, —
Я мог бы вас любить глухим, лишенным
зренья...
Я вас люблю затем, что это — вы!
На право вас любить не прибегу к
пашибóрту
Иссохших завистью жеманниц отставных:
Давно с почтением я умоляю их
Не заниматься мной и убираться к чорту!

НА ГОЛОС РУССКОЙ ПЕСНИ

Я люблю тебя, без ума люблю!
О тебе одной думы думаю,
При тебе одной сердце чувствую,
Моя милая, моя душечка.

Ты взгляни, молю, на тоску мою
И улыбкою, взглядом ласковым
Успокой меня, беспокойного,
Осчастливь меня, несчастливое.

Если жребий мой умереть тоской, —
Я умру, любовь проклиная,
Но и в смертный час воздыхая
О тебе, мой друг, моя душечка!

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Когда я повстречал красавицу мою,
Которую любил, которую люблю,
Чьей власти избежать я льстил себя
обманом, —
Я обомлел! Так, случаем неожиданным,
Гуляющий на воле удалец —
Встречается солдат-беглец
С своим безбожным капитаном.

И МОЯ ЗВЕЗДОЧКА

Море воет, море стонет,
И во мраке, одинок,
Поглощен волною, тонет
Мой заносчивый челнок.

Но, счастливцев, пред собою
Вижу звездочку мою —
И покосил я душою,
И беспечно я пою:

Молодая, золотая
Предвещательница дня,
При тебе беда земная
Недоступна до меня.

Но сокрой за бурной мглой
Ты сияние свое —
И сокроется с тобою
Провидение мое!

Пенза

РЕЧКА

Давно ли, речка голубая,
Давно ли, ласковой волной
Мой челн привольно колыхая,
Владела ты, источник рая,
Моёй блуждающей судьбой?

Давно ль с беспечностью милой
В благоуханных берегах
Ты влагу ясную катила
И отражать меня любила
В своих задумчивых струях!..

Теперь, печально пробегая,
Ты стонешь в сумрачной тиши,
Как стонет дева молодая,
Пролетной призраком обнимая
Своей тоскующей душой.

Увы! твой ропот заунывный
Понятен мне, он — ропот мой;
И я пою последние гимны
И твой поток гостеприимный
Крошу прощальною слезой.

Наутро пурпурной зарею
Занышет небо, — берега

Блеснут одеждой золотою
И благотворною росой
Закаплют рощи и дуга.

Но вод твоих на лоне мутном
Всё будет пусто!.. лишь порой,
Носясь полетом бесприютным,
Их гостем посетит минутным
Журавль, пустынный кочевой.

О, где тогда, осиротелый,
Где буду я! К каким странам,
В какие чуждые пределы
Мчатъ будет гордо парус смелый
Мой челн по скачущим волнам!

Но где б я ни был, сердца дань —
Тебе одной. Чрез даль морей
Я на крылах воспоминаний
Явлюсь к тебе, приют мечтаний,
И мук, и благ души моей!

Явлюсь, весь в думу превращенный,
На берега твоих зыбей,
В обитель девы незабвенной
И тихо, странник потаенной,
Невидимым припину к ней.

И, неподвластный злым укорам,
Я облеку ее собой,
Упысь ее стыдливым взором
И вдохновенным разговором,
И гармонической красой;

Ее, — чья прелесть — увлечение!
Светла, небесна и чиста,
Как чувство ангела в моление,
Как херувима сновиденье,
Как юной грации мечта!

25 ОКТЯБРЯ

Я не рошшу. Я вознесен судьбою
Превыше всех! — Я счастлив, я любим!
Приветливость даруется тобою
Соперникам моим...
Но теплота души, но всё, что так люблю я
С тобой наедине...
Но девственность живого поделуя...
Не им, а мне!

Унеслись невозвратимые
Дни тревог и милых бурь,
И мечты мои любимые,
И небес моих лазурь.

.....
Не глядит она, печальная,
На пролет надежд моих,
Не дрожит слеза прощальная
На ресницах молодых!

РОМАНС

Жестокый друг, — за что мученье?
Зачем приманка милых слов?
Зачем в глазах твоих любовь,
А в сердце гнев и нетерпенье?
Но будь покойна только ты,
А я, на горе обреченный,
Я оставляю все мечты
Моей души развороженной...

И этот край очарованья,
Где столько был судьбой гоним,
Где я любил, не быв любим,
Где я страдал без состраданья,
Где так жестоко испытал
Неверность клятв и обещаний, —
И где никто не понимал
Моей души глухих рыданий!

Я помню — глубоко,
Глубоко мой взор,
Как луч, проникал и роши, и бор,
И степь обнимал широко, широко..

Но, зоркие очи,
Потухли и вы...
Я выглядел вас на деву любви,
Я выплакал вас в бессонные ночи!

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Прошла борьба моих страстей,
Болезнь души моей мятежной,
И призрак пламенных почей
Неотразимый, неизбежный,
И мидые тревоги милых дней,
И языка несвязный лепет,
И сердца судорожный трепет,
И смерть, и жизнь при встрече с ней...
Исчезло всё! — Покой желанный
У изголовия сидит...
Но каплет кровь еще из раны,
И грудь усталая и ноет, и болит!

В нем совесть спит покойно, непробудно.
Заставить бестию *стыдиться* — мудрено...
Заставить *покраснеть* не трудно!

ЭПИГРАММЫ

Меринос собакой стал, —
Он нахальствует не к роже,
Он сейчас народ прохожий
Затолкал и забодал.
Сторож, — что ж ты оплошал?
Подойди к барану прямо,
Подцепи его на крюк
И прижги ему курдюк
Раскаленной эпиграммой!

Ученый разговор

О ты, убивший жизнь в ученом кабинете,
Скажи мне: сколько чуд считается на
Семь. — Нет: осьмос — ты, педант мой свете?
Девятое — твой нос, нос сизо-красноватый, дорогой;
Что, так спесиво приподнятый,
Стоит, украшенный табачною поздрей!

Нет, кажется, тебе не суждено
Сразить врага; твой враг — детина чудной;

ЧЕЛОБИТНАЯ

Башилову

В дни былые сорванец,
Весельчак и веселитель,
А теперь Москвы строитель,
И сенатор, и делец,
О, мой давний покровитель,
Сохрани меня, отец,
От соседства шумной тучи
Полицейской саранчи,
И торчащей каланчи,
И пожарных труб и крючий.
То есть, попросту сказать:
Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты,
Мой Пречистенской дворец.
Тесен он для партизана:
Сотоварищ урагана,
Я люблю, — казак-боец,
Дом без окон, без крылец,
Без дверей и стен кирпичных,
Дом разгулов безграничных
И налетов удалых,
Где могу гостей моих

Принимать картечью в ухо,
Пулей в лоб иль пикой в брюхо.
Друг, вот истинный мой дом!
Он везде, — но скучно в нем;
Нет гостей для угощенья.
Подожду... а ты пока
Вникни в просьбу казака
И уважь его моление.

СОВРЕМЕННАЯ ПЕСНЯ

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы.

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.

Всякой маменькин сынок,
Всякой обирага,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.

Деспотизма сопостат,
Равенства оратор, —
Вздурся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.

Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как лрыый Мирабо,
Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафает,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловичей.

Фраз журнальных лексикон,
Прапорщик в отставке, —
Для него Наполеон —
Вроде бородавки.

Для него славнее бой
Карбонаров бледных,
Чем когда наш шар земной
От громов победных

Колыхался и дрожал
И народ, в смятенье,
Нпц унавши, ожидал
Мира разрушение.

Что ж? — Быть может, наш герой
Утомил свой гений
И заботой боевой,
И огнем сражений?..

Нет, он в битвах не бывал —
Шаркал по гостиним,

И по плацу выступал
Шагом журавлиным.

Что ж? — Быть может, он богат
Счастьем семьянина,
Заменя блистанье лат
Тогой гражданина?..

Нет, нахально подбочась,
Он по дачам рыщет
И в театрах, развываясь,
Всё шипит да свищет.

Что ж? — Быть может, старины
Он бежал приманок?
Звезды, ленты и чины
Презрел снозаранок?

Нет, мудрец не разрывал
С честолюбьем дружбы
И теперь бы крестик взял...
Только, чтоб без службы.

Вот гостинная в лучах:
Свечи да кенкеты,
На столе и на софах
Кипами газеты;

И превыспренний конгресс
Двух графинь оглохших
И двух жалких баронесс
Чопорных и тощих;

Всё исчадие греха,
Страстное новинкой;
Заговорщица-блоха
С мухой-якобинкой;

И козявка-егоза,
Девка пожилая,
И рябая стрекоза,
Сплетня записная;

И в очках сухой паук,
Длинный лазаронн,
И в очках плюгавый жук,
Разноситель вони;

И комар, студент хромой,
В кучерской причёске,
И сверчок, крикун ночной,
Друг Крылова Моськи;

И мурашка-филантроп,
И червяк голодный,
И Филипп Филиппыч-клоп
Муж... женоподобный, —

Все вокруг стола — и скок
В кипеть совещастья
Утолист, идеолог,
Президент собрания,

Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,

Что в гостинных бить привык
В маленький набатик.

Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им в ответ:
Dominus vobiscum!¹

И раздолье языкам!
И уж тут не шутка!
И народам, и царям —
Всем приходит жутко!

Всё, что есть, — всё в пыль и прах!
Всё, что процветает, —
С корнем вон! — Аронаг
Так определяет.

И жужжит он, полн грозой,
Царства низвергая...
А Россия, — боже мой! —
Таска... да какая!

И весь размежеван свет
Без войны и драки!
И России уже нет,
И в Москве поляки!

Но назло врагам она
Всё живет и дышет,
И могуча, и грозна,
И здоровьем пышет.

¹ Господь с вами! (лат.).

Насекомых болтовни
Внятием не тешит,
Да и место, где они,
Даже не почешет.

А когда во время сна
Моль иль таракашка
Заволзет ей в нос, — она
Чхнет — и вон букашка!

ГЕРОЮ БИТВ, БИВАКОВ,
ТРАКТИРОВ И Б...

Люблю тебя, как сабли лоск,
Когда, приосенясь фуражкой,
С винтовочивою баклажкой
Идешь в бивачный мой киоск.

Когда, летая по рядам,
Горишь, как свечка, в дыме бранном;
Когда в б...е окаинном
Ты душишь сводно по щекам.

Киплю, любуясь на тебя,
Глядя на прыть твою младую:
Так старый хрыч, цыган Илья,
Глядят на пляску удалую,
Под лад плечами шевеля.

О рыцарь! идол усачей!
Гордись пороками своими!
Чаруй с гусарами лхими
И очаровывай б...й!

ЛИСТОК

Листок иссохший, одинокой,
Пролетный гость стен широкой,
Куда твой путь, голубчик мой? —
«Как знать мне! Налетели тучи,
И дуб родимый, дуб могучий
Сломили вихрем и грозой.
С тех пор, игралище Борея,
Не сетуя и не робея,
Ношусь я, странник кочевой,
Из края в край земли чужой;
Несусь, куда несет суровый,
Всеми неизбежный рок,
Куда летит и лист лавровый
И легкий розовый листок!»

БОГОМОЛКА

Кто знает нашу богомолку,
Тот с ней узнал наедине,
Что взор плутовки втихомолку
Поет акафист сатане.

Как сладко с ней играть глазами,
Инд падая перед крестом,
И окаянными словами
Перерывать ее псалом!

О, как люблю ее ворчанье:
На языке ее всегда
Отказ идет как обещанье:
Нет на словах — на деле да.

И — грешница — всегда сначала
Она завонит горячо:
«О, варвар! изверг! я пропала!»
А после: — «Милой друг, еще...»

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание избранных стихотворений Дениса Давыдова составлено на основе полного собрания его стихотворений, изданного под моей редакцией в 1933 г. «Издательством писателей в Ленинграде», в серии «Библиотека поэта».

Стихотворения печатаются в последних авторских редакциях и расположены в хронологическом порядке — по времени их написания. Исключение сделано для неподдающихся точной датировке шести эпиграмм (1805—1814 гг.), выделенных в особую группу, и для отнесенных в конец сборника трех стихотворений, даты которых не установлены.

Голова и Ноги. Написано в 1803 г. Впервые было напечатано только в 1872 г. Эта басня и следующая («Река и Зеркало») — самые ранние из дошедших до нас произведений Давыдова — занимали видное место в русской потаенной литературе начала XIX в. и широко распространялись конспиративным путем — в рукописях и в устной передаче. Басню «Голова и Ноги» в числе других «вольных» сочинений, «дышащих свободой» и «способствовавших

развитию либеральных понятий», называет декабрист В. П. Штейнгель в письме к Николаю I (1826 г.).

Река и Зеркало. Написано в 1803 г. Впервые было напечатано только в 1869 г. Почти дословный перевод басни французского писателя гр. Л.-Ф. Сегюра «Дитя, зеркало и река». Давыдов добавил от себя последнее двустопишье, которого нет в басне Сегюра и которое существенным образом углубляет ее политический смысл («велел в Сибирь сослать»). Басня «Река и Зеркало» приписывалась Пушкину и под его именем часто встречается в рукописных сборниках запрещенных стихотворений. В отзыве об одном из таких сборников агент III Отделения охарактеризовал эту басню как «возмутительное сочинение».

Сон. Написано в 1803 г. Впервые было напечатано только в 1933 г. Сатира Давыдова, в которой задет ряд видных представителей гвардейского офицества и придворной знати, встретила живой отклик в военно-дворянской среде. Приятель Давыдова С. Н. Марин писал кн. М. С. Воронцову: «Маленькому Давыдову мыли за стихи голову; он написал «Сон», где всех ругает без милосердия». «Сон» вызвал стихотворный ответ офицера Преображенского полка А. Аргамасова; в этих стихах Аполлон говорит Давыдову:

Ты, мальчик, зазнался,
Имеешь медный лоб,
Осмеивать пустился
Почтенных ты особ,

Вступя в знакомство с знатью,
Дал волю языку;
За это вашу братью
Я розгами секу.

Фамилии некоторых лиц, упомянутых в сатире Давыдова, раскрыты условно (в списке, с которого сатира печатается, все фамилии зашифрованы). *Нарышкин* — по видимому Л. А. Нарышкин (1785—1846), офицер Преображенского полка. *Н. А. Запьянский* (1743—1821) — придворный Павла I; о нем современники отзывались как о «добром, но бесцветном» и крайне недалеком человеке. *Н. П. Соистунов* (ум. в 1815 г.) — камергер, любимец Павла I, вышедший в отставку тотчас же после его убийства; был оппозиционно настроен по отношению к Александру I и его двору. *С. Н. Марин* (1775—1813) — офицер Преображенского полка, сатирический поэт, один из наиболее видных и ярких представителей гвардейской фронды 1800-х гг. *А. Д. Кошнев* (1767—1846) — офицер Измайловского полка, славившийся бесшабашным поведением и остроумными шутками; был также и литератором. Давыдов сравнивает Кошнева с *Ликурием* (знаменитым законодателем

древней Спарты), имея в виду выполненный им в 1799 г. перевод трактата французского ученого и государственного деятеля Неккера — «Счастье глупцов». Граф *И. С. Лаваль* (1761—1846) — французский эмигрант, камергер и церемониймейстер русского двора, известный богач, славившийся своим салоном, пышными балами и обедами. *П. И. Багратион* (1765—1812) — грузинский князь и русский генерал, «Ахилл наполеоновских войн» — по определению Давыдова, с конца 1806 г. служившего под начальством Багратиона (одно время его адъютантом). О большом носе Багратиона ходило множество анекдотов; один из них, в котором главную роль играет Давыдов, записал в 1815 г. Пушкин. *И. П. Дибич* (1785—1831) — в 1803 г. скромный подпоручик Семеновского полка, а в будущем фельдмаршал и граф Дибич-Забалканский. В молодости Давыдов был дружен с Дибичем, но впоследствии пути их резко разошлись, и в эпоху 1830-х гг. Давыдов высмеивал Дибича в своих статьях как наиболее характерного представителя немецкой «плацпарадной» военщины (см. также на стр. 131 стихотворение «Голодный пес»). О красоте Дибича Давыдов упоминает в своей ранней сатире иронически: Дибич имел крайне непрезентабельную наружность. *Талия и трантель-ва* — термины карточной игры.

Бурцову. Призывание на пуш. Написано в 1804 г.

А. П. Бурцов (ум. в 1813 г.), воспетый в этом и в двух следующих стихотворениях, — сослуживец Давыдова по Белорусскому гусарскому полку. Он был широко известен в свое время как «величайший гуляка и самый отчаянный забулдыга из всех гусарских поручиков». О Бурцове писали также Пушкин и Вяземский (в стихах, посвященных Давыдову). *Ера* — живой, резвый человек. *Арак* — крепкая водка. *Ташка* — кожаная сумка, украшенная гербом или вензелем, носившаяся гусарами больше как украшение.

Бурцову («В дымном поле, на биваке...»). Написано в 1804 г.

Причет — низшие служители православной церкви (дьячки, псаломщики); здесь причтом Давыдов в шутку называет гусаров. *Фланкировка* — действия кавалерии в рассыпном строю. *И Георгъ за совет* — Давыдов иронически пишет о тыловом штабном офицерстве, награждавшемся Георгиевским крестом не за воинские подвиги, а за участие в военном совете.

Гусарской пир. Написано в 1804 г. *Понтировка* — термин карточной игры. *Фланкировка* — см. предыдущее примечание.

Мудрость. Написано в 1807 г.

Анакреонтическими одами назывались в поэзии XVIII — начала XIX в. стихотворения, прославлявшие любовь, вино, пиры и прочие житейские удовольствия, — отчасти по связи со сборником несен, приписывавшихся древнегреческому лирику VI в. до н. э. Анакреону Теосскому.

Стихотворению «Мудрость» подражал молодой Пушкин в лицейских куплетах 1814 г.:

Мы недавно от печали,
Пушкин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали
И Фому прогнали вон.

Договоры. Написано в 1807 г. Вольный перевод элегии французского поэта Вийе (1768—1820) — «Мои договоры». В середине 1830-х гг. Давыдов коренным образом переработал первоначальный текст и напечатал стихотворение в новой редакции, которая и дана в настоящем издании. Переработка выразилась преимущественно в более резком подчеркивании сатирических моментов и приближении к стилистическому и языковому своеобразию «гусарщины». Сам Давыдов в примечании к переработанному тексту писал, что в первой редакции стихотворение это «принято было за элегию, тогда как оно, под личиною элегии, есть чистая сатира на старых холостяков, заключающих брачные союзы

с молодыми и светскими девушками». Давыдов не включил «Договоры» в сборник своих стихотворений, изданный в 1832 г., по той причине, что в них «все почти рифмы на глаголы, а... во *многосложности несть спасения*», — и при переработке старался сократить число глагольных рифм.

Стихотворение это высоко расценивалось современниками Давыдова и включалось в сборники «образцовых сочинений». Но уже Белинский в 1840 г. писал, процитировав вышеприведенное примечание Давыдова: «Мы на этот раз не согласны с автором — да простит нам тень его! Мы думаем просто, что молодой и удалый гусар поддался на минуту духу сентиментальности, царствовавшей тогда в русской литературе, и не имел смелости, в зрелые лета, сознаться в этом самому себе, забыв, что *был молодцу не укора*. В этой пьесе, явно выходящей из сферы таланта Давыдова, мало хорошего; но вот лучшее:

...Что видим мы в театрах?—Малый круг

[и т. д. — Белинский цитирует 10 строк, посвященных сатирическому описанию драматического спектакля]. Мы не без особенного намерения привели здесь эти стихи: читатель увидит в них классическую замашку и тяжелую ломоносовскую фактуру шестистопного ямбического сти-

ха, — и пусть он сравнит его со стихами позднейших стихотворений Давыдова: какая бесконечная разница!»

Чиж и Роза. Написано в 1808 г. Довольно близкий перевод басни французского поэта Делиля (1738—1813) «Роза и Скворец».

«Поведай подвиги усатого героя...» Написано в 1808 г. Этот отрывок большого стихотворения, полностью неизвестного, Давыдов привел по памяти в статье «Воспоминания о Кульневе в Финляндии».

Генерал Я. П. Кульнев (1763—1812) славился своими причудами и странными выходками, в которых современники усматривали подражание чудачествам Суворова. Давыдов, служивший в 1808—1810 гг. под начальством Кульнева, писал: «Можно смело сказать, что Кульнев был одним из последних воинов чисто-русского семейства, как Брут — последним римлянином...» *Левенгольм* — шведский генерал, раненный и взятый в плен в бою с Кульневым в апреле 1808 г. *Клинтсбор* — фельдмаршал, командовавший шведскими войсками в кампанию 1808—1809 гг.

Подражание Горацию. Написано в 1809 г. Подражание VIII оде (из II книги од) римского поэта I в. до н. э. Квинта

Флакка Горация. Обращено к Аглае Давыдовой, жене двоюродного брата Дениса Давыдова, прославленной красавице своего времени. Стихотворение представляет собою довольно распространенный в русской поэзии начала XIX в. опыт передачи античного белого стиха русским «народным» размером.

Графу П. А. Строгонову. Написано в 1810 г.

П. А. Строгонов (1774—1817) — приятель Давыдова, видный государственный деятель-либерал, игравший крупную роль в правительстве в первые годы царствования Александра I. В 1807 г., когда окончательно определилось крушение системы официального либерализма, поощрявшегося Александром I, Строгонов отошел от государственной деятельности и вступил в военную службу. *Линдор* — тип влюбленного франта, вертопраха, — персонаж пьесы Бомарше «Севильский цирюльник».

Моя песня. Написано в 1811 г. Источник «Моей песни» — популярные французские куплеты «Жизнь холостяка», принадлежащие малоизвестному поэту Жозефу Пану (1773—1830).

Мой гардероб лежит в яру — то есть наложен в лавке ростовщика, в «торговом яру». *Таврический сад* — в Петербурге.

В альбом. Написано в 1811 г.

Тороки — ремешки, которыми прикрепляется к седлу поклажа.

Эпиграммы (1805—1814):

К портрету Бонапарте. Наполеон Бонапарт был уроженцем острова Корсика. Последний стих имеет в виду возведение Наполеоном на престолы разных европейских королевств своих братьев, в 1806—1808 гг. К этому времени, очевидно, и относится эпиграмма Давыдова.

К портрету NN. Эпиграмма имеет в виду славившегося своей глупостью Ф. П. Уварова (1769—1824), бедного армейского офицера, сделавшего блестящую карьеру. Своим возвышением Уваров был всецело обязан любовной связи с гн. Е. Н. Лопухиной, матерью фаворитки Павла I. Один из современников Уварова, А. М. Тургенев, намекая на «амурные дурачества» Уварова с Лопухиной, пишет: «Денис Давыдов остро и справедливо сказал про Уварова, что он умничает глупо, а дурачится умно».

На К. и На него же. Эти эпиграммы, по данным одной, впрочем, малодостоверной, статьи, направлены против генерала А. Бетанкура (1758—1824), человека неопределенной национальности, с 1808 г. состоявшего на русской службе, — «страстного любовника, имевшего успех у дам полусвета».

Надпись к сочинениям I^{xx}. Направлена, повидимому, против сентиментального и малодаровитого стихотворца кн. П. П. Шаликова, осмелившегося современниками во множестве эпиграмм (см. стр. 183). Источник «Надписи» — анонимная французская эпиграмма на поэта Жозефа Дорà (1734—1780).

Эпиграмма. По не вполне достоверным данным направлена против поэта и переводчика «Илиады» Н. И. Гнедича (1784—1833), сказавшего будто бы в ответ на насмешки Давыдова по его адресу: «Мне все равно! Я помню, что и Агамемнон имел хулиателя Терсита».

Элегия I. Написана в 1814 г. Эта элегия и две следующие посвящены А. И. Ивановой (ум. в 1830 г.) — балерине, а впоследствии водевильной и оперной актрисе.

Богиня Пафоса — по греческой мифологии, богиня любви Афродита и ее спутницы — Грации или Хариты. *Бог Фракции* — Арей, греческий бог войны.

Элегия II. Написана в 1814 г. Подражание II элегии (из I книги элегий) римского лирика I в. до н. э. Тибулла. В этой элегии описано Московское театральное училище, где «за холодными стенами» томила «во цвете ранних лет» Иванова. «Мучитель» Ивановой, ее *Аргус* (в греко-римской мифологии стоглазый великан,

стороживший богиню Ио; в переносном смысле — вообще бдительный страж) — актер Московского драматического театра Украсов, которому был поручен надзор за воспитанниками Театрального училища. Давыдов по включил эту элегию в сборник своих стихотворений (1832 г.) по той причине, что она, по его мнению, «от изобилия в эпитетах слишком много принадлежит школе Буше, Вилло, Миньера, т. е. фальшивой живописи».

Крылатый проводник — Амур.

Элегия III. Написана в 1815 г.

Терпсихора — в греческой мифологии муза танца. *Мирт* был посвящен древним грекам богине любви Афродите.

Песня. Написана в 1815 г.

Другу-повесе. Написано в 1815 г. Обращено к гр. Ф. И. Толстому (1782—1846), прозванному «Американцем». Толстой был знаменит своими необычайными приключениями воина, путешественника, дуэлиста и картежника. О нем писали Пушкин, Грибоедов (в «Горе от ума»), Вяземский и др. Л. Толстой охарактеризовал «Американца» как «необыкновенного, преступного и привлекательного человека». С Давыдовым Ф. И. Толстой был связан долголетней и крепкой дружбой. Ему принадлежит следующая «Надпись к портрету Давыдова».

Ужасен меч его отечества врагам —
Ужаснее перо надменным дуракам.

Синклит — синклит, здесь в смысле: торжественное собрание. *Крекс* и *понтировка* — термины карточной игры.

Поэтическая женщина. Написано в 1816 г. В. Р. Зотов, много лет спустя, засвидетельствовал, что от этого стихотворения «сходили некогда с ума».

Ответ на вызов написать стихи. Написано в 1816 г.

Этим стихотворением открывается цикл, внушенный Давыдову образом Е. А. Злотицкой (1800—1864). Давыдов собирался жениться на Злотицкой и даже получил ее согласие, но, не располагая достаточными средствами для безбедной семейной жизни, хлопотал о предоставлении ему денежного пособия и «аренды» — права пользования казенным земельным участком на особо льготных условиях. Пока тянулось дело об «аренде», Злотицкая была помолвлена с другим, о чем Давыдов неожиданно узнал в начале 1817 г. и заклеил ее «измену» в Элегии VII и в стихотворении «Неверной» (см. ниже).

Ташика — см. стр. 171. *Доломан* — гусарский полукафтан, носился внакидку на левом плече.

Элегия IV. Написана в 1816 г.

Элегия V. Написана в 1816 г. Вольная переработка V элегии французского поэта Парни (1753—1814), автора прославленных в свое время сентиментально-эротических элегий и песен, вызывавших многочисленные подражания в русской поэзии начала XIX в.

Элегия VI. Написана в 1816 г. Вольный (и сокращенный) перевод IX элегии Парни.

Элегия VII. Написана в 1817 г.

Вольный перевод из Парни. Написано в 1817 г. Перевод отрывка из III песни поэмы Парни «Иснель и Аслега».

Неверной. Написано в 1817 г. Это — последнее стихотворение из посвященных «изменнице» Е. А. Злотницкой.

Элегия VIII. Написана в 1817 г.

Песня старого гусара. Написана в 1817 г. Это стихотворение пользовалось в свое время огромной популярностью. Белинский в рецензии о «Сочинениях» Давыдова привел стихи «одного филистера», обидевшегося за «новых гусар» и

«пропевшего Давыдову резонерскую рачью»:

Вот и мы, друзья молодые,
От сатиры не ушли, и т. д.

Доломан и Ташка — см. стр. 171 и 179. *Ментик* — короткая гусарская куртка, расшитая шнурами и отороченная мехом, с пуговицами в несколько рядов. Барон Г. В. Жюмине (1779—1869) — теоретик военного искусства и военно-исторический писатель, с 1813 г. состоявший на русской службе военным советником Александра I. Выражение: *Жюмини да Жюмини, а об водке ни полслова* — прочно вошло в литературный язык и обиходную речь. В. И. Ленин воспользовался им в статье 1913 г. «Кабинет Бриана» (Собр. соч., т. XVI, стр. 253).

Логика пьяного. Написано в 1817 г. Перевод сказочки французского поэта Понсе де Вердана (1749—1844) «Пьяница-философ».

Решительный вечер. Написано, вероятно, в 1818 г. Обращено Давыдовым к невесте — С. Н. Чирковой.

Абшид — отставка. *Прогоны* — плата, взимаемая за проезд на почтовых лошадях; людям, ехавшим «по казенной надобности», прогоны оплачивались казной.

Гусар. Написано в 1822 г.

Эпитафия. Написана в 1822 г., еще при жизни кн. А. А. Кольцова-Масальского — московского сенатора, прозванного современниками за художавость «князь моши».

Вечер в июне. Написано в 1826 г. Белинский считал «Вечер в июне» — «по мысли и форме, решительно лучшим стихотворением Давыдова».

Ответ. Написано в 1826 г. К кому обращен «Ответ» — не установлено.

Пинд — горная цепь в древней Греции, в состав которой входили Геликон и Парнасс, служившие, по мифологии, местопребыванием Аполлона и муз. **Кастальский ток** — источник на горе Парнасс, посвященный Аполлону; по мифологии, обладал свойством возбуждать поэтическое вдохновение.

Товарищу 1812 года, на пути в армию. Написано в 1826 г. К кому обращено — не установлено. Жалобы Давыдова на то, что никто не «вдохнул» при его отъезде в армию, являются поэтическим вымыслом. В статье «Воспоминания о 1826 годе» он писал, что «отправился в путь с стесненным сердцем и, простившись с женой, «дал горю излиться горячими слезами. Как тяжело было исполнить волю государя, как проклинал я то неизбежное често-

любие и страсть к приключениям, увлекавшие меня от истинного благополучия к непостоянству, безрассудному одобрению людскому; но между тем я торопил своего амщика».

Генералам, танцующим на бале при отъезде моем на войну 1826 года. Написано в 1826 г.

Партизан. Написано в 1826 г. В стихотворении этом Давыдов изобразил самого себя в эпоху войны 1812—1814 гг.

Курень — жилище запорожских казаков, здесь — палатка. **Пара** — река (приток Оки), на берегах которой возле села Тарутино в 1812 г. русская армия нанесла поражение французам.

Полу-солдат. Написано в 1826 г.

Куртинец — курд, житель горных областей передней Азии. **Война родная** — кампания 1812—1814 гг. **Торнео** — название реки и города в Финляндии. **Секвана** — старинное кельтское название восточной части Франции (нынешняя область Франш-Конте).

«Грузинский князь, газетчик русской...» Написано в 1827 г. Направлено против кн. П. П. Шаликова (1768 — 1852), сентиментального поэта и журналиста, редактора официальной газеты «Московские Ведомости» — в ответ на следующую эпиграмму «Герой», появившуюся

в издававшемся Шаликовым «Дамском Журнале» 1827 г.:

Когда кипит с врагами бой,
И Росс вновь лавры пожинает,
Усатый, грозный наш герой
В Москве на дрожках разъезжает.

Давыдов принял эту эниграмму на свой счет и в своем ответе подчеркнул то обстоятельство, что «на глас войны» он летит «спасать родину князька» — Грузию (Шаликов был грузин), в то время как обвинявший его в трусости «князик» «читает корректуру реляционного листка» (вариант последних стихов эниграммы), т. е. «Московских Ведомостей», где печатались реляции о победах русской армии и, в частности, о победах самого Давыдова во время русско-персидской войны.

На смерть NN. Написано в 1827 г. Четверостишие это, очевидно, имеет в виду отставку А. П. Ермолова (1777—1861), видного генерала, знаменитого «проконсула Кавказа», родственника и покровителя Давыдова. Ермолов — знамя военно-дворянской фронды александровской эпохи — не пользовался расположением и доверием Николая I и в марте 1827 г. был уволен от командования Отдельным Кавказским корпусом и заменен П. Ф. Паскевичем — ставленником,

а впоследствии и главой враждебной «ермоловцам» военно-бюрократической партии. Давыдов принадлежал к числу наиболее верных и восторженных поклонников Ермолова, который, в свою очередь, всячески покровительствовал Давыдову, ценил его «ум» и «пылкость» и с похвалою отзывался о его «остроте и замысловатостью оригинальных» поэтических произведениях. Отставка Ермолова повлекла за собою отставку и самого Давыдова. «Родство мое с Алексеем Петровичем, — писал он, имея в виду Паскевича, — поставило меня в затруднительное соотношение с лицами, хотя не лишенными некоторых блистательных военных качеств, но презренными по душевным свойствам, ничтожными по своему невежеству и невыносимыми по бессмысленному высокомерию». Естественно, что Давыдов должен был зашифровать свою гневную отповедь «гонителям» Ермолова и поставить над стихами ложное заглавие: «На смерть NN».

При виде Москвы, возвращаясь с персидской войны. Написано в 1827 г.

Зайцевскому. Написано в 1828 г. Е. И. Зайцевский (1801—1860) — мелкий поэт пушкинской поры, морской офицер, отличившийся во время русско-турецкой войны 1828 г.: при штурме Варны он, командуя

еотней матросов-охотников, первым во-
рвался в крепость и при этом был тяжело
ранен. Поэтому Давыдов в своем послании
и наделяет Зайцевского тремя лаврами:
поэта, воина и моряка. Зайцевский ответил
Давыдову посланием, в котором писал:

Ты прав, Давыдов, я счастлив!
Счастлив: мне раненую руку
Пожал увенчанный герой,
И славой я обязан звуку
Ахилла лиры золотой.

Камена — муза. *А. П. Казарский* (ум. в
1833 г.) — морской офицер, отличившийся
в русско-турецкую войну 1828—1829 гг.
Леонид — спартанский царь, знаменитый ге-
рой древней Греции, погибший в битве
с персами при Фермопилах в 480 г.
до н. э.

Бородинское поле. Написано в
1829 г. Сам Давыдов считал эту элегию
«изрядным» стихотворением.

Батракион — см. стр. 170. Давыдов назы-
вает его «Гомерическим вождем», т. е. рав-
ным легендарным вождям древней Греции,
воспетым Гомером. *П. П. Раевский* (1771—
1829) — генерал, отличившийся в битве при
Бородине, родственник и одно время на-
чальник Давыдова. *Ермолов* — см. стр. 184.

С. А. К — н. о. й. Написано в 1829 г. Это
стихотворение и два следующих посвящены

С. А. Кушкиной — симбирской помещице,
о которой Давыдов писал Жуковскому:
«Поэт, живописец, ваятель и любитель
художеств не может не принести ей уди-
вления. Но из этого не заключи, ради бога,
чтобы я, отец семейства и хватающийся
уже за полу столетие, влюбился в нее. Ты
поэт, следственно знаешь, что можно вос-
хищаться красотой и цеть ее без малей-
шего чувства любви. Словом, я ценю эту
красавицу, как ты описывал нам некогда
корреджиеву Мадонну Дрезденской гале-
реи» (см. следующее примечание).

Пафосский бог — Афродита. *Аглая* — одна
из харит (граций).

Душенька. Написано в 1829 г. Сам
Давыдов относил «Душеньку» к числу
лучших своих стихотворений. Эпиграф взят
из статьи Жуковского 1821 г. «Рафаэлев
Мадонна (из письма о Дрезденской гале-
рее)».

О стихе: *И осенил венком лавровым Ее
высокое чело* — Давыдов писал Вяземскому:
«Этот венок есть мои стихи, которые
я написал ей [*С. А. Кушкиной*] прежде
означенных стихов; стихи, изрядные для
провинции, но которые недостойны быть
пересланы ни к тебе, ни к Жуковскому»
(речь идет о предыдущем стихотворении).

N N. Написано в 1829 г.

Канова (1747—1822) — итальянский скульп-

тор; его работы были очень популярны в России в начале XIX в. *Пиндар* — древнегреческий поэт-лирик VI—V вв. до н. э.

Голодный пес. Написано в 1832 г. Направлено против гр. П. П. Дибича-Забалканского (см. о нем на стр. 170), командовавшего русскими войсками во время турецкой кампании 1828—1829 гг. и, далеко не с прежним успехом, во время подавления польского восстания 1831 г. Польское восстание было подавлено с большим трудом, и Давыдов считал Дибича главным виновником военных неудач русской армии в 1831 г., «единственным оскорбителем» ее «чести, славы и оружия».

Сообщая свою сатиру Вяземскому, Давыдов писал (в декабре 1832 г.): «Вот уже месяца три, как я закупоренный стою во льде прозы; после же стихов твоих [послания Вяземского к Давыдову. — *Вл. О.*] вино закипело и пробка хлопнула. Вот тебе — полная рюмка, я ее налил во стыд [Дибича]. Не мог простить ему, что от вялодушия, отсутствия рассудка и духа предприимчивости его — родимые войска наши, закованные в кандалы германизма, едва не осрамились и русский мундир едва не сделался посмешищем Европы... Посылаю тебе эти стихи, с тем только, чтобы, прочтя их сам и прочтя Пушкину, Дашкову и Блудову (не как Министрам, а как Арзамасцам), ты бросил стихи в огонь. Я не

хочу, чтобы о них знал кто-либо, кроме вас четырех. Признаюсь, что я на это решаюсь, скрепя сердце; боюсь, чтобы любопытные почтазоны, прочтя их без моего ведома, не разгласили о них. Не кстати в мои преклонные лета играть роль Béranger [Беранже]».

Немецкий фон — «фон» у немцев — приставка к фамилии, означающая дворянское звание. *Наш хер-барон* — «хер» (Herr) — по-немецки: господин. *Адрианополь* — турецкий город, взятый русской армией в августе 1829 г., после чего Турция заключила с Россией невыгодный для себя «Адриано-польский мир». *Кресченды*, итал. crescendo («возрастая») — музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука. *Аренд* — см. стр. 179. *Шпанс* — водка.

Гусарская исповедь. Написано в 1832 г.

NN. Написано в 1833 г. Этим четверостишием открывается целая серия стихов 1833—1836 гг., посвященных *Е. Д. Золотаревой* — пензенской помещице, «молодой девушке выдающегося ума и образования, красавице» (по отзыву современника). Пятидесятилетний Давыдов влюбился в Золотареву со всем пылом первой молодости, вел с нею оживленную переписку. Увлечение это вновь побудило Давыдова к стихотворству: он никогда не писал так много

стихов, как в 1834 г. «Я теперь в восторге поэтическом, — писал он Вяземскому. — Без шуток, от меня так и брызжет стихами. З[олотаре]ва как будто прорыла заглохший источник. Последние стихи, сам скажу, что хороши».

Психея — по греческой мифологии, олицетворение человеческой души, изображавшееся в виде девушки с крыльями бабочки. *Пери* — прекрасный и добрый дух персидской мифологии, восточный ангел.

Ей. Написано в 1833 г. Подражание мадригалу Вольтера «Портрет мадам Сен-Жюльен».

Вальс. Написано в 1834 г.

«О, кто, скажи ты мне, кто ты...» Написано в 1834 г.

Романс («Не пробуждай, не пробуждай...»). Написано в 1834 г.

Я вас люблю так, как любить вас должно...» Написано в 1834 г.

На голос русской песни. Написано в 1834 г.

После разлуки. Написано в 1834 г. Подражание «Мадригалу» мелкого французского поэта Жана Берто (1552—1611), ошибочно приписанному Давыдовым Вольтеру.

И моя звездочка. Написано в 1834 г.

Речка. Написано в 1834 г. Давыдов писал об этом стихотворении Н. М. Языкову: «Мое мнение, что в нем нет единства, читатель не догадается, к кому более страсти — к речке или к деде, которая в конце пьесы является; надо было бы менее огня в начале, а то нет оттенка; эта ошибка неизгладима. Но стихи, кажется, и звучны, и хороши».

25 Октября. Написано в 1834 г.

«Унеслись невозвратимые...» Написано в 1834 или 1835 г. Стихотворение это относится уже ко времени, когда Е. Д. Золотарева, выйдя замуж, прервала переписку с Давыдовым.

Романс («Жестокый друг, — за что мученье?»). Написано в 1834 или 1835 г.

«Я помню — глубоко...» Написано в 1836 г.

Выздоровление. Написано в 1836 г. Этим стихотворением замыкается цикл, посвященный Е. Д. Золотаревой.

Эпиграммы (1836)

«Меринос собакой стал...» Направлена против И. В. Сабурова (1788—1873) — пензенского помещика, известного в свое

время сельского хозяина-экспериментатора, увлекавшегося разведением тонкорунных овец-мериносов. В 1835 г. Сабуров под псевдонимом «Мурза-Чет» издал небольшую книжку «Четыре роберта жизни», где «не пощадил Пензенских жителей обоего пола» (упоминается им и Давыдов). «Боже мой, что за гвалт поднялся! — писал Давыдов по этому поводу Вяземскому. — И все теперь пишем и сочиняем на счет Сабурова... Понимаешь ли ты всю прелесть этой провинциальной распри? Какой клад для моей однообразной жизни». Несомненно, что эпиграмма Давыдова была написана в ответ на книжку Сабурова.

Ученый разговор. Направлена против Д. А. Бекетова — пензенского помещика, старинного приятеля и сослуживца Давыдова.

«Нет, кажется, тебе не суждено...» Направлена, очевидно, против Ф. В. Булгарина (1789—1859) — видного реакционного писателя и журналиста, издателя официозной газеты «Северная Пчела», служившего «осведомителем» в III Отделении. В 1830-х гг. Булгарин ожесточенно боролся с группой «литературных аристократов», объединившихся вокруг журнала Пушкина «Современник». Давыдов, принадлежавший к этой группе, неоднократно самым резким образом высказывался о Булгарине; в июне 1836 г. он писал Пушкину: «В Пчеле есть дружелюбие на Современник, по слогу,

кажется, Булгарин машет лаптью, нельзя ли махнуть его ладонью по ланите». В последнем стихе давыдовской эпиграммы речь идет как раз о пощечине. Обращена эпиграмма, повидимому, к Пушкину (в журнале которого — «Современник» — она и была напечатана).

Челобитная. Написано в 1836 г. Стихотворение это, по мнению самого Давыдова «довольно удачно набросанное», обращено к А. А. Башилову (1777—1847) — богатому московскому жителю, славившемуся своим шутством и хлебосольством. В 1830-х гг. Башилов, в звании сенатора, служил директором московской «Комиссии строений». Посылая «Челобитную» Пушкину, Давыдов писал: «Это челобитная Башилову. У меня есть каменный, огромный дом в Москве, окно в окно с пожарным Депо. В Москве давно ищут купить дом для Обер-Полицеймейстера: — я предлагаю мой — вот о чем идет речь в моей Челобитной. Ты можешь напечатать ее в «Современнике, только повремени немного... Главное дело в том, чтобы Челобитная достигла своей позитивной, а не поэтической цели: чтобы прежде подействовала на Башилова и понудила бы его купить мой дом за 100 тысяч рублей — там, после *нет* с его стороны, пусть поступает она в область фикции вместе с моими надеждами и предприятием».

Мой Пречистенский дворец — дом Давыдова в Москве стоял на улице Пречистенке.

Современная песня. Написана в 1836 г. Этот памфлет, в котором Давыдов с позиции реакционного национализма нападал на либеральную и интеллигентную, пользовался огромной популярностью у современников: «Стоило только произнести первую строчку, — пишет А. Д. Галахов, — как слушатели подхватывали продолжение и дочитывали песню до конца, при единодушном смехе». Полемическая острота памфлета усугублялась еще тем обстоятельством, что Давыдов имел в виду определенных лиц, хорошо известных московскому обществу. «Подобно *Горю от Ума*, — писал А. В. Дружинин, — она была направлена на знакомых поэта, на лиц из московского общества и, подобно этой знаменитой комедии, пошла гораздо далее цели, предполагаемой поэтом. Временная сторона испарилась с годами и в словесности навсегда остались лишь истинно-типические стороны произведения, независимые ни от времени, ни от самых личностей, служивших за оригиналов поэту».

Большинство персонажей «Современной песни» остаются пераскрытыми; известно, например, кого Давыдов вывел в образах «длинного лазарона», «плюгавого жука», «студента хромого», «мурашки-фиантропа» и т. д. Но можно с уверенно-

стью сказать, что в своем памфлете Давыдов, в первую очередь, имел в виду постоянных посетителей великосветского салона Е. Г. Левашевой, служившего одним из центров московского «западничества» 30-х гг. (главную роль играл в нем П. Я. Чаадаев).

«Современная песня», восторженно встреченная в реакционных кругах, была, по словам А. И. Дельвига, «дурно принята» прогрессивным лагерем московского общества, «которое находило неприличным смеяться над теми, которые находятся на дурном счету у правительства, и тем как бы стараться ему подслужиться».

Из современников Давыдова резко-отрицательный отзыв о «Современной песне» дал А. И. Тургенев в письме к Вяземскому: «Какая подлость в слог! Но вот и порочная строфа: *А глядишь — наш Лафает...* [и т. д.]. Впрочем, тут и бородавки, мошки да букашки, червяк голодный, почешет и проч., и проч., и проч.». Тургенев осудил памфлет Давыдова за его «глубость» — в соответствии с эстетическими нормами карамзинизма; журнальная же критика конца 1830-х гг. дала «Современной песне» совершенно иную оценку: «Какое глубокое, благородное негодование! какой звонкий, раздольный, богатырский, прямо-русский стих!» — писали в «Отечественных Записках» 1839 г.

Был век бурный, дивный век — Давыдов имеет в виду эпоху наполеоновских войн —

первое пятнадцатилетие XIX в. *Тьер* (1797—1877) — французский историк и политический деятель, защищавший в эпоху 1830-х гг. идеи буржуазной революции, позднее — ярый реакционер, руководивший разгромом Парижской коммуны 1871 г. *Рабо де Сент-Этьен* (1743—1793) — французский историк и политический деятель эпохи буржуазной революции. *Мирабо* (1749—1791) — один из виднейших деятелей и ораторов эпохи французской буржуазной революции, умеренный либерал, пытавшийся согласовать интересы крупной буржуазии с сохранением монархического строя. *Лафайет* (Лафайетт) (1757—1834) — французский генерал и политический деятель, участник французской буржуазной революции и войны за независимость Северо-Американских штатов, глава буржуазной оппозиции во Франции в эпоху Реставрации. *Брут* и *Фабриций* — древнеримские республиканцы, служившие в литературе образцами гражданской чести и неподкупности. *Карбонары* — по-итальянски «угольщики», члены тайного политического общества; название это в начале XIX в. распространилось на всех революционеров. *Кенкеты* — старинные лампы с горелкой особого устройства. *Лазарони* — итальянское слово, означающее «босая». *Друг Крылова* *Москит* — имеется в виду известная басня И. А. Крылова «Слон и Москит». *И Филипп Филиппич* — клоп — имеется в виду Ф. Ф. Вигель

(1786—1836) — известный мемуарист, монархист и реакционер, написавший донос на Чаадаева. *Маленький аббатик* — П. Я. Чаадаев (1793—1856) — виднейший русский мыслитель начала XIX в., автор «Философических писем», в которых с позиций прогрессивного западничества трактовался вопрос об исторических судьбах России. «Письма» Чаадаева, по словам Герцена, были «обвинительным актом против России». После опубликования первого «письма» Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим, а редактор журнала, в котором это письмо появилось, — выслан на север. «Аббатиком» Давыдов называл Чаадаева за его пристрастие к католицизму. Давыдов относился к Чаадаеву резко-враждебно; в «Философическом письме» он усмотрел только «накипь на русскую нацию» и писал Пушкину: «Ты спрашиваешь о Чаадаеве?.. Я всегда считал его человеком начитанным и, без сомнения, весьма умным шарлатаном в непрерывном пароксизме честолюбия, — но без духа и характера, как белокурый кокетка, в чем я и не ошибся». Чаадаев сам узнал себя в «Современной песне» и в своем экземпляре альманаха, где она была напечатана, написал против 24 и 25-й строф: «Это я».

Герою битв, биваков, трактатов и б... Было написано либо во второй половине 1820-х гг., либо в 1830—1831 г.

Третья строфа была присочинена Пушкиным (Давыдов, повидимому, слегка ее переделал).

Дыган Илья — знаменитый в Москве пушкинского времени дыганский поевд и хоровой регент.

Л и с т о к. В первой редакции восходит, вероятно, к 1816—1818 гг., а вторая, кардинально переработанная, редакция относится, очевидно, к 1836—1837 гг. (в настоящем издании «Листок» печатается во второй редакции). Перевод одноименного стихотворения французского поэта Арно (1766—1834). «Листок» Арно пользовался необычайно широкой популярностью, был переведен почти на все европейские языки и вызвал бесчисленные подражания. Популярности этого стихотворения способствовало то обстоятельство, что читатели принимали его за аллегорично, сопоставляя судьбу листка — «странника кочевого» — с судьбою политических изгнанников, в частности самого Арно, изгнанного в 1816 г. Бурбонами из Франции за приверженность к Наполеону. На русский язык «Листок» переводился многократно, между прочим В. А. Пушкиным (в 1816 г.), П. И. Шаликовым (в 1817 г.), Жуковским (в 1818 г.). Перевод Давыдова очень близок к переводу Жуковского.

Пушкин в статье 1836 г. «Французская Академия» дал обстоятельную характеристи-

стику Арно и писал, между прочим: «Всем известен его *Листок*. . . Участь этого маленького стихотворения замечательна. Костюшко перед своей смертью повторял его на берегу Женевского озера; Александр Писиданти перевел его на греческий язык; у нас его перевели Жуковский и Давыдов. . . Может быть, и сам Давыдов не знает стихов, которые написал ему Арно, услышав о его переводе». Далее Пушкин приводит эти стихи (даем их в переводе с французского):

Тебе, певец, тебе, герой,
Кто пьет взахлест вино на бреге
Ипнокрены,
Кто превращает в лист священный,
В лист лавра — дуба лист простой.

Первой строчкой этого четверостишия («*A vous, poëte, à vous, guerrier*») Пушкин начал свое послание Давыдову 1836 г.:

«Тебе, певцу, тебе, герою!».

Давыдов, прочитав статью Пушкина, писал ему в августе 1836 г.: «Ты по шерсти погляди самолюбие мое, отыскав бог знает где и прозу и стихи Арно, о которых я и знать не знал. Жалею, что перевод мой недостойн благосклонности и мадригала покойного академика. Этот перевод ужасно плох, так плох, что в издании стихотворений моих [1832 г. — В. А. О.] я не смел его

поместить». Очевидно, появление в русской печати жесткого отзыва Арно побудило Давыдова переработать свой старый перевод «Листка» и опубликовать его в 1837 г.

Богомолка. Дата этого стихотворения не установлена; напечатано оно было впервые в 1861 г. за границей, в сборнике «Русская поэзия XIX столетия», изданием Н. П. Огаревым. О популярности «Богомолки» свидетельствуют многочисленные списки ее в рукописных сборниках запрещенных произведений.

Акафист — церковная служба с чтением молитв.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИЗДАНИЙ СОЧИНЕНИЙ ДЕНИСА ДАВЫДОВА

Стихотворения Дениса Давыдова, М., 1832. Единственное прижизненное и подготовленное автором издание.

Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым. Тт. I—III, СПб., 1893 (часть тиража помечена 1895 г.).

В части прозы это издание является наиболее полным (не вошло в него специальное сочинение «Опыт теории партизанского действия», изданное в 1821 и 1822 гг. и вошедшее в издания «Сочинений» Давыдова 1848 и 1860 гг.). В III томе собраны некоторые письма Давыдова, «имеющие литературный интерес».

Денис Давыдов. Полное собрание стихотворений. Редакция и примечания В. Н. Орлова. Вступительные статьи В. М. Саянова и Б. М. Эйхенбаума. Издательство писателей в Ленинграде, «Библиотека поэта», Л., 1933.

Это издание дает текст всех поэтических произведений Давыдова, в том числе неоконченных и неотделанных, а также и тех, принадлежность которых Давыдову не установлена окончательно. Здесь помещена также автобиография Давыдова и, в качестве приложения, собраны стихи разных поэтов, посвященные Давыдову.

ВАЖНЕЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА О ДЕНИСЕ ДАВЫДОВЕ

В. Г. Белинский, Позное собрание сочинений, под ред. С. Венгерова, т. VII, СПб., 1904, стр. 514—515.

Б. Садовской, Русская Камена, М., 1910, стр. 9—69.

В. Жерве, Партизан-поэт Д. В. Давыдов, СПб., 1913.

Наиболее подробная биография Давыдова, посвященная преимущественно его военной деятельности.

И. Розанов, Поэты двадцатых годов XIX века, М., 1925, стр. 77—112.

В. Саянов, Денис Давыдов. Вступительная статья в «Полном собрании стихотворений Дениса Давыдова», Л., 1933.

Б. Эйхенбаум, От военной оды к «гусарской песне» — там же.

Вл. Орлов, Судьба литературного наследия Дениса Давыдова — «Литературное Наследство», № 19—21, М., 1935, стр. 297—340.

Обзор изданий сочинений Давыдова, его переписки и рукописного наследия.

СОДЕРЖАНИЕ ¹

Денис Давыдов. Статья <i>Вл. Орлова</i> .	5	
Голова и Ноги	47	167
Река и Зеркало	49	168
Сон.	51	168
Бурцову. Призывание на пунш .	53	171
Бурцову («В дымящем поле, на биваке...»)	53	171
Гусарской шпр.	57	171
Мудрость.	58	172
Договоры.	60	172
Чиж и Роза.	69	174
«Поведай подвиги усатого героя...»	71	174
Подражание Горацию	73	174
Графу П. А. Строгонову	74	175
Моя песня	75	175
В альбом	77	176

Эпиграммы

К портрету Бонапарте	78	176
К портрету NN	78	176
На К.	78	176

¹ Первая цифра означает страницу текста, вторая — страницу примечаний.

На него же	79	176
Надпись к сочинениям Г** . . .	79	177
Эпиграмма	79	177
Элегия I	80	177
Элегия II	82	177
Элегия III	85	178
Песня	87	178
Другу-повесе	89	178
Поэтическая женщина	91	179
Ответ на вызов написать стихи .	92	179
Элегия IV	94	180
Элегия V	96	180
Элегия VI	98	180
Элегия VII	100	180
Вольный перевод из Парни . . .	103	180
Неверной	104	180
Элегия VIII	105	180
Песня старого гусара	106	180
Логика пьяного	108	181
Решительный вечер	109	181
Гусар	110	181
Эпитафия	111	182
Вечер в июне	112	182
Ответ	113	182
Товарищу 1812 года, на пути в армию	114	182
Генералам, танцующим на бале при отъезде моем на войну 1826 года	115	183
Партизан	116	183
Полу-солдат	118	183
«Грузинский князь, газетчик русской...»	121	183

На смерть NN.	122	184
При виде Москвы, возвращаясь с персидской войны.	123	185
Зайцевскому.	124	185
Бородинское поле.	126	186
С. А. К—ной.	127	186
Душенька.	128	187
NN («Вы хороши! — Каштановой волной...»)	130	187
Голодный пес.	131	188
Гусарская исповедь.	133	189
NN («Волга — как Пенхей, том- на и стыдлива...»)	135	189
Ей.	136	190
Вальс.	137	190
«О, кто, скажи ты мне, кто ты...»	138	190
Романс («Не пробуждай, не про- буждай...»)	139	190
«Я вас люблю так, как любить вас должно...»	140	190
На голос русской песни.	141	190
После разлуки.	142	190
И моя звездочка.	143	191
Речка.	144	191
25 Октября.	147	191
«Унеслись невозвратимые...»	148	191
Романс («Жестокый друг, — за что мученье?...»)	149	191
«Я помню — глубоко...»	150	191
Выздоровление.	151	191

Эпиграммы

«Мерное собакой стал...»	152	191
------------------------------------	-----	-----

Ученый разговор.	152	192
«Нет, кажется, тебе не су- ждено...»	152	192
Челобитная.	154	193
Современная песня.	156	194
Герою битв, биваков, трактиров и б...	162	197
Листок.	163	198
Богомолка.	164	200
Примечания.	167	
Список основных изданий сочи- нений Дениса Давыдова.	201	
Важнейшая литература о Денисе Давыдове.	203	

Отпечатано для издательства
„Советский Писатель“ в типо-
графии и.м. Володарского, Ленин-
град, Фонтанка, 57, в количе-
стве 10 500 экз. Авт. л. 7. Заказ
№ 503. Ленгортит № 12894. Сда-
но в набор 5/II 1936 г. Подписано
к печати 26 V 1936 г. Формат
72×110,64 см. Тип. знак, в 1 бум.
л. 169 000. Бум. л. 1³/₈. С.П.—12/Л.
Худ. В. Двораковский. Отсеств.
редактор И. Янольский. Тех-
нич. редактор А. Кирнарская.
1936